



М. ВЕЛЛЕР

В ОДНО ДЫХАНИЕ

Михаил Веллер

В одно дыхание (сборник)

«Издательство АСТ»

2010

Веллер М. И.

В одно дыхание (сборник) / М. И. Веллер — «Издательство АСТ», 2010

ISBN 978-5-17-064764-4

***НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕЛЛЕРОМ МИХАИЛОМ ИОСИФОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВЕЛЛЕРА МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА.** В сборник включены самые известные и яркие рассказы Михаила Веллера, созданные в разные годы. Смешные и печальные, традиционные и экстравагантные, совсем короткие и очень емкие, они отличаются чистотой письма, вниманием к самым разным сторонам жизни.

ISBN 978-5-17-064764-4

© Веллер М. И., 2010

© Издательство АСТ, 2010

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Очень коротко | 5 |
| Мимоходом | 5 |
| Идиллия | 7 |
| Апельсины | 8 |
| Сопутствующие условия | 10 |
| Поправки к задачам | 12 |
| Паук | 14 |
| Думы | 15 |
| Не думаю о ней | 17 |
| Разные судьбы | 19 |
| Легионер | 21 |
| Свистульки | 23 |
| Практически невероятно | 25 |
| Все уладится | 25 |
| Транспортировка | 34 |
| Долги | 47 |
| Кошелек | 60 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 61 |

Михаил Веллер

В одно дыхание (сборник)

Очень коротко

Мимоходом

- Здравствуй, – не сразу сказал он.
- Мы не виделись тысячу лет, – она улыбнулась. – Здравствуй.
- Как дела?
- Ничего. А ты?
- Нормально. Да...
- Люди проходили по длинному коридору, смотрели.
- Ты торопишься?
- Она взглянула на его часы:
- У тебя есть сигареты?
- А тебе можно?
- Махнула рукой:
- Можно.
- Они отошли к окну. Закурили.
- Хочешь кофе? – спросил он.
- Нет.
- Стряхивали пепел за батарею.
- Так кто у тебя? – спросил он.
- Девочка.
- Сколько?
- Четыре месяца.
- Как звать?
- Ольга. Ольга Александровна.
- Вот так вот... Послушай, может быть ты все-таки хочешь кофе?
- Нет, – она вздохнула. – Не хочу.
- На ней была белая вязаная шапочка.
- А рыжая ты была лучше.
- Она пожала плечами:
- А мужу больше нравится так.
- Он отвернулся. Заснеженный двор и низкое зимнее солнце над крышами.
- Сашка мой так хотел сына, – сказала она. – Он был в экспедиции, когда Оленька родилась, так даже на телеграмму мне не ответил.
- Ну, есть еще время.
- Нет уж, хватит пока.
- По коридору, вспушив поднятый хвост, гуляла беременная кошка.
- Ты бы отказался от аспирантуры?
- На что мне она?..
- Я думала, мой Сашка один такой дурак.
- Я второй, – сказал он. – Или первый?
- Он обогатитель... Он хочет ехать в Мирный. А я хочу жить в Ленинграде.

- Что ж. Выходи замуж за меня.
- Тоже идея, – сказала она. – Только ведь ты все будешь пропивать.
- Ну что ты. Было бы кому нести. А мне некому нести. А если б было кому нести, я бы и принес.
- Ты-то?
- Конечно.
- Пойдем на площадку, – она взяла его за руку...
- На лестничной площадке сели в ободранные кресла у перил.
- А с тобой, наверно, было бы легко, – улыбнулась она. – Мой Сашка точно так же: есть деньги – спустит, нет – выкрутится. И всегда веселый.
- Вот и дивно.
- Жениться тебе нужно.
- На ком?
- Ну! найдешь.
- Я бреюсь на ощупь, а то смотреть противно.
- Не напрашивайся на комплименты.
- Да серьезно.
- Брось.
- А за что ей, бедной, такую жизнь со мной.
- Это дело другое.
- Бродяга я, понимаешь?
- Это точно, – сказала она.
- Зажглось электричество.
- Ты гони меня, – попросила она.
- Сейчас.
- Верно; мне пора.
- Посиди.
- Я не могу больше.
- Когда еще будет следующий раз.
- Я не могу больше!
- Одетые люди спускались мимо по лестнице.
- Дай тогда две копейки – позвонить, – она смотрела перед собой.
- Ну конечно, – он достал кошелек. – Держи.

Идиллия

Ветер нес по пляжу песок. Они долго искали укрытое место, и чтоб солнце падало правильно. Лучшие места были все заняты.

У поросшей травой дюны женщина постелила махровую простыню.

– Хорошо быть аристократом, – сказал мужчина, и женщина улыбнулась.

– Я пойду поброжу немножко, – сказала она...

– Холодно на ветру.

– Ты подожди меня. Я недолго.

– Хм, – он согласился.

Он смотрел, как она идет к берегу в своем оранжевом купальнике, потом лег на простыню и закрыл глаза.

Она пришла минут через сорок и тихо опустилась рядом.

– Ты меня искал?

Он играл с муравьем, загораживая ему путь травинкой.

– Конечно. Но не нашел и вот только вернулся.

Муравей ушел.

– Не отирая влажных глаз, с маленьким играю крабом, – сказала женщина.

– Что?

– Это Такубоку.

Мальчишки, пыля, играли в футбол.

– Хочешь есть? – она достала из замшевой сумки-торбы хлеб, колбасу, помидоры и три бутылки пива.

Он закурил после еды. Деревья шумели.

– Я, кажется, сгорела. Пошли купаться.

Он поднялся.

– Если не хочешь – не надо, – сказала она.

– Пошли.

Зайдя на шаг в воду, она побежала вдоль берега. Она бежала, смеясь и оглядываясь.

– Догоняй! – крикнула она.

Он затрусил следом.

Вода была холодная. Женщина плавала плохо.

Они вернулись быстро. Он лег и смотрел, как она вытирает свое тело.

Она легла рядом и поцеловала его.

– Это тебе за хорошее поведение, – дала из своей сумочки апельсин.

Апельсины

Ему был свойствен тот неподдельный романтизм, который заставляет с восхищением – порой тайным, бессознательным даже, – жадно переживать новизну любого события. Такой романтизм, по существу, делает жизнь счастливой – если только в один прекрасный день вам не надоест все на свете. Тогда обнаруживается, что все вещи не имеют смысла, и вселенское это бессмыслие убивает; но, скорее, это происходит просто от душевной усталости. Нельзя слишком долго натягивать до предела все нити своего бытия безнаказанно. Паруса с треском лопаются, лохмотья свисают на месте тугих полотнищ, и никчемно стынет корабль в бескрайних волнах.

Он искренне полагал, что только молодость, пренебрегая деньгами – которых еще нет, – и здоровьем – которое еще есть, – способна создать шедевры.

Он безумствовал ночами; неродившаяся слава сжигала его; руки его тряслись. Фразы сочными мазками шлепались на листы. Глубины мира яснили; ошеломительные, сверкали сокровища на острие его мысли.

Сведущий в тайнах, он не замечал явного...

Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел.

Он грезил любовью ко всем; спасение не шло; он истязался в бессилии.

Неотвратимо – он близился к ней. ОНА – стала для него – все: любовь, избавление, жизнь, истина.

Жаждающе взбухли его губы на иссушенном лице. Опушенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки век трепетали.

Он вышел под вечер.

Разноцветные здания рвались в умопомрачительную синь, где серебрились и таяли облачные миражи.

На самом высоком здании было написано: «Театр комедии».

Императрица вздымалась напротив в бронзовом своем величии. У несокрушимого гранитного постамента, греясь на солнышке, играли в шахматы дряхлеющие пенсионеры.

– Ваши отцы вернулись с величайшей из войн, – сказал ему старичок.

– Кровь победителей рвет ваши жилы! – закричал старичок, голова его дрожала, шахматы рассыпались.

Чугунные кони дыбились вечно над взрябленной мутью и рвали удила.

Регулировщик с красной повязкой тут же штрафовал мотоциклиста, нарушившего правила.

Солнце заходило над Дворцом пионеров им. Жданова, бывшим Аничковым.

На углу продавали белые пачки сигарет – и красные гвоздики.

У лоточницы оставался единственный лимон. Лимон был похож на гранату-лимонку.

Человечек схватил его за рукав. Человечек был мал ростом, непреклонен и доброжелателен. Человечек потребовал сигарету; на листе записной книжки нарисовал зубастого нестрашного волка в воротничке и галстук, и удалился, загадочно улыбаясь.

Он зашел выпить кофе. За кофе стояла длинная очередь. Кофе был горек.

Колдовски прекрасная девушка умоляла о чем-то мятого верзилу; верзила жевал резинку.

Он перешел на солнечную сторону улицы. Но вечернее солнце не грело его.

Пока он размышлял об этом, кто-то занял телефонную будку.

Дороги он не знал. Ему подсказали.

В автобусе юноша с измученным лицом спал на тряском заднем сидении; модные дорогие часы блеснули на руке.

На улице Некрасова сел милиционер, такой молоденький и добродушный, что кругом заулыбались. Милиционер ехал до Салтыкова-Щедрина.

Девчонки, в головокружительном обаянии юности, смеясь, спешили к подъезду вечерней школы. Напротив каменел Дворец бракосочетаний.

Приятнейший аромат горячего хлеба (хлебозавод стоял за углом) перебивал дыхание взбужших почек.

«Весна...», – подумал он.

ЕЕ не оказалось дома.

Никто не отворил дверь.

Он ждал.

Темнело.

Серым покрасил улицу тягостный дождь. Пряча лица в поднятые воротники, проскальзывали прохожие вдоль закопченных стен. Проносились автобусы, исчезая в пелене.

Оранжевые бомбы апельсинов твердели на лотках, на всех углах тлели тугие их пирамиды.

Сопутствующие условия

Его должны были расстрелять на рассвете.

На рассвете – это крупное везение. Еще есть время.

Он лежал ничком в совершенной темноте. Вероятно, ногами к двери – швырнули.

Спина была изодрана в мясо и присыпана рыбацкой солью. Боль вывела его из забытья.

Боль была союзником.

Связанные сзади руки немели.

Он перекатился на спину, и боль перерубила сознание. Он смолчал и пришел в себя. Он просто забыл: нога. Левая нога попала под коня. Под ним убило коня.

Он уперся правой пяткой в земляной пол и проелозил плечами... Оттолкнулся еще раз и совладел с дыханием. Подтянул ногу, закинул голову, опершись макушкой приподнял плечи и передвинул себя.

После десятого раза он стал переворачиваться на живот. Сердце грохало в глотке.

Извивался, царапая коленом, правой стороной груди, головой – полз.

Часовой – вздохнул, выматерился, зачиркал металлом по кремушку, добывая прикурить, близко, но снаружи, где дверь, в стороне ног.

Он определил стену сарая. Переместил себя вдоль нее. На правом боку, прижимаясь, продвигался. Острые гвоздя корябнуло лоб.

Нашел.

Гвоздь торчал на полвершка. Он долго пристраивался к нему стянутыми запястьями. При всяком движении черная трещина в сознании расширялась, и боль увлекала туда.

Не чувствуя руками, на звук, он дергал веревкой о кончик гвоздя. Приноровясь, пытался расщипывать волокна в одном месте.

Закрапал в крышу, наладился дождь. Удача; очень большая удача.

Пряди поддевались чаще толстые. Он отпускал напрягшиеся нити, стараясь определить одну, и рвал ее...

...Очнувшись, он продолжал. И последняя прядка лопнула, но это был лишь один виток, и веревка не ослабла.

Теперь он приспособился, пошло быстрее... Ему удавалось расковырять, разлохматить веревку о гвоздь, и она поддавалась легче.

...Он не мог сказать прошедшего времени, когда освободил руки. Он кусал взбухшие кисти, слизывая кровь с зубов, и руки ожили.

Под стену натекала вода. Он напился из лужицы. Часть воды оставил, провертев пальцем в дне лужи несколько ямок поближе к стене.

На четвереньках, подтягивая ногу, он обшарил сарай. Ни железки, ни щепки... Пригнанные доски прочны.

Железный костыль сидел в столбе мертво. Сжав челюсти, он раскачивал его, выкрашивая зубы.

Костылем он стал рыхлить землю с той стороны, под стеной, где натекала вода. Он рыхлил увлажняющуюся землю костылем и выгребал руками. Руку уже можно было высунуть по плечо, когда в деревне закричали петухи. Ему оставался час до рассвета. С дождем – полтора часа.

Часовой – не шагал под дождь, но без сна, дымок махорки чуялся.

В темноте, сдирая запекшиеся струпья со спины, он вылез в мокрый бурьян. Умеряя движения, каждую травинку перед собой проверяя беззвучно, пополз направо к реке.

С глинистой кручи головой вперед, тормозя скольжение вытянутыми руками, пальцами правой ноги и подбородком, он достиг берега.

Лодок не было.

Ни одной.

Он двигался на четвереньках вдоль воды. Дождь перестал, и линия обрыва выступила различимо.

Обломок бревна он заметил сажени за три. Подкатил его, спустился без всплеска в сентябрьскую воду.

Лежа на калабахе грудью, обхватив ее левой рукой, оттолкнулся от дна, тихо-тихо загребая правой к середине.

Ниже по течению верстах в полутора на том берегу был лес.

И поэтому так называемые трудности мне непонятны.

И знакомые называют меня идеалистом, наивным оптимистом и юнцом, не знающим жизни.

Человек этот, боец 6-го эскадрона 72-го красного кавполка, был мой прадед.

Фотографию его, дореволюционную овальную сепию, я спер из теткиного альбома и держу у себя на столе. Те, кто видят ее впервые, не удерживаются, чтобы не отметить сходство и поинтересоваться, кем этот человек мне приходится. Что составляет тайный (и не совсем тайный, если откровенно) предмет некоторой моей гордости. На фотографии ему двадцать один – на три больше, чем мне сейчас. Намного старше он не стал – погиб в двадцатом.

Поправки к задачам

Августовское солнце грело приятно. Листва уже набирала желтизну. Маршал дремал на скамеечке. Он услышал шаги и открыл глаза. Генерал с молодым усталым лицом стоял перед ним. В первые моменты перехода к бодрствованию маршал смотрел с неясным чувством. Старческая водица пояснила на его глазах. Генерал был в форме того, военного, образца. «Забавно», – маршал понял, улыбнувшись: это он сам стоял перед собой и ожидал, возможно, указаний.

– Ну, как командуется? – спросил он.

– Трудно, товарищ маршал, – ответил генерал, поведя подбородком, и тоже улыбнулся.

– Трудно... – повторил маршал. Третью веку назад, подтянутый в безукоризненно сидящей форме, он был хорош... – А иначе и не должно.

Пологий склон переходил в лес на высотах. Его наблюдательный пункт находился в сотне метров. НП был такой, как он любил: основательный блиндаж накатов в шесть и рядом вышка, пристроенная к высокой сосне, маскируемая ветвями. Маршал пришел в определенно приятное расположение духа.

Генерал достал портсигар.

– Кури, – разрешил маршал. – «Казбек»? Правильно, – одобрил. – Садись, не стой. Это мне перед тобой теперь стоять надо, – пошутил он и вздохнул.

Тихо было. Спокойно. Даже птички пели.

– Волнуешься?

– Гм... Да как вам сказать, – затруднился генерал.

– Главное что, – приступил маршал и задумался... Рядом сидящий, в значимости энергии главных дел жизни, в нерешенности тревог, ощущался им по-сыновнему близким, и было в этой приязни нечто неприличное, и зависть была, и снисходительное сожаление. Явился вот, поправок небось ждет, замечаний... – Главное – тебе надо контрудар выдержать, не пуская резервы. Заставить их израсходовать на тебя все, что имеют. Иначе – хана тебе. Прорвут. Чем это пахнет – ясно?

– Ясно...

– Иначе – срыв всей операции, а тебя разрежут и перемелют. Сейчас от твоей армии все зависит. Успех двух фронтов зависит от тебя.

Генерал пошевелил блестящим сапогом. Рука с папиросой отдыхала на колене, обтянутом галифе.

Маршал развивал мысль. Знание и победы утратили абсолют, – томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством.

– А... стиль руководства? – спросил генерал.

Маршал сказал:

– Над собой ты волю чувствуешь постоянно, – и под тобой должны. Одного успокоить, довести до него, что все развивается нормально. На другого – страху нагнать! чтоб и в мыслях у него не осталось не выполнить задачу. Тут уж актером иногда надо быть!.. – он глянул и рассмеялся: – Эть, как я тебя учить стал, а?..

– Ничего, – рассмеялся и генерал. – Все верно!

– А в деталях? – спросил он.

– Да у тебя лично вроде так, – сказал маршал недовольно, добросовестно сверяясь с памятью. – Только, – покрутил пальцами...

– Общей достоверности не хватает?

– Вот-вот, – поморгал, подумал. – Ну, давай, – напутствовал. – Командуй! – и остался на своей скамеечке.

Поковырял палкой лесную землю, сухую, слоеную.

Растеснил воздух нежеванный механический звук мегафона:

– Всем по местам! Перерыв окончен!

На съемочной площадке приняла ход деловитая многосложная катавасия.

Генерал подошел к режиссеру.

– Что Кутузов? – спросил режиссер и изломил рот, нарушив линию усов.

– Получил краткое наставление по управлению армией в условиях мобильной обороны, – сообщил генерал.

Режиссер крикнул, махнул рукой и наставил мегафон:

– Свет! Десятки! Пиротехникам приготовиться!!

Генерал со свитой полез на вышку. Звуковики маневрировали своими журавлями; осветители расправляли провода; джинсовые киноадъютанты сновали, художник требовал, монтажники огрызались, статисты дожевывали бутерброды и поправляли каски; запахло горячей жестью, резиной, вазелином, озоном, тальком, лежалым тряпьем; оператор взмывал, примериваясь. Режиссер заступал за предел напряжения не раз до команды: «Внимание! Мотор!», пока щелчок хлопушки не отсек непомерный черновик от чистой работы камеры.

Переводя дух, потный, он закурил. Сцена шла верно. Картина двигалась тяжело. У него болело сердце. Он боялся инфаркта.

Черная «Чайка» маячила за деревьями. В перерыве маршал вступил с объяснениями. Маршал, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но передвижение техники в этом районе и направлении выглядит явно бессмысленным, а пиротехнические эффекты вопиюще не соответствуют действительности. Режиссер, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но если привести натуру в копию действительности, то на экране ничего не останется от этой самой действительности.

– Все делается единственно верным образом. И благодаря вам тоже, – любезность иссякала; прозвучало двусмысленно. Он отошел в осатанении от консультанта.

Недоказуемость истины бесила его.

Он отвечал головой за каждый кадр. Это была его главная картина. Он боялся инфаркта.

Маршал мешал как мог. Он стал злом привычным.

Генерал перегнулся с вышки:

– Ви-ид отсюда, – поделился он.

Тяготимый несчислимыми условиями, —

– Дубль! – назначил режиссер, желая гарантии, терзаясь потребностью идеального совпадения кадра с постигнутой им истиной.

«Дубль...» – хмыкнул маршал.

Ему не было нужды лезть на вышку, чтобы отчетливо увидеть картину сражения. Он знал ясно, как за тем увалом, на невидимом отсюда поле заглатывая паленый воздух артиллеристы бьют по безостановочно и ровно подминающим встречное пространство танкам, как сводит на трясущихся рукоятях руки пулеметчиков, как сближает прицел вжатая в окопы пехота. Он знал хорошо, что будет здесь сейчас, если танки панцерной дивизии пройдут через порядки его ИПТАПов.

Паук

Беззаботность.
Он был обречен: мальчик заметил его.
С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный: серая шершавая вишня на членистых ножках.
Мальчик взял спички.
Он всходил на стенку: сверху напали! Он сжался и упал: умер.
Удар мощного жала – он вскочил и понесся.
Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство.
Он метался, спасаясь.
Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался.
Противный.
Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое, он еле ускользал.
Укус смял. Он дернулся, припадая. Стена была рядом; он срывался.
Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все.
Яркий шар вздулся и прыгнул снова.
Ухода нет.
В угрожающей позе он изготовился драться.
Мальчик увидел: две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных.
И когда враг надвинулся вновь, он прынул вперед и ударил.
Враг исчез.
Мальчик отдернул руку. Спичка погасла.
Ты смотри...
Он бросался еще, и враг не мог приблизиться.
Два сразу: один спереди пятился от ударов – второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним.
Коробок опустел.
Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез.
Он выставил уцелевший коготь к бою.
Стена огня.
Мир горел и сжимался.
Жало врезалось в мозг и выело его. Жизнь кончилась. Обугленные шпательки лап еще двигались: он дрался.
...Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щечками он взял пепельный катышок и выбросил на клумбу.
Пространство там прониклось его значением, словно серовато-прозрачная сфера. Долго не сводил глаз с незаметного шарика между травинки, взрослея.
Его трясло.
Он чувствовал себя ничтожеством.

Думы

Подумать хотелось.

Мысль эта – подумать – всплыла осенью, после дня рождения.

Женился Иванов после армии. За восемнадцать лет вырос до пятого разряда. А в этом году в армию пошел его сын. А дочка перешла в седьмой класс.

Какая жизнь? – обычная жизнь. Семья-работа. То-сё, круговерть. Вечером поклоуешь носом в телик – и голову до подушки донести: будильник на шесть.

Дача тоже. Думали – отдых, природа, а вышла барщина. Будка о шести сотках – и вычеркивай выходные.

Весь год отпуска ждешь. А он – спица в той же колеснице: жена-дети, сборы-споры, билеты, очереди, покупки... – уж на работу бы: там спокойней; привычней.

Ну, бухнешь. А все разговоры – об этом же. Или про баб врут.

Хоп – и сороковник.

Как же все так... быстро, да не в том даже дело... бездумно?..

И всплыла эта вечная неудовлетворенность, оформилась: подумать спокойно об всем – вот чего ему не хватало все эти годы. Спокойно подумать.

Давно хотелось. Некогда просто остановиться было на этой мысли. А теперь остановился. Зациклился даже.

– Свет, ты о жизни хоть думала за все эти годы? – спросил он. Жена обиделась.

Мысль прорастала конкретными очертаниями.

Лето. Обрыв над рекой. Раскидистое дерево. Сквозь крону – облака в небе. Покой. Лежать и тихо думать обо всем...

Отрешиться. Он нашел слово – отрешиться.

Зимой мысль оформилась в план.

– Охренел – в июле тебе отпуск?! – Мастер крыл гул формовки. – Прошлый год летом гулял! – Иванов швырнул рукавицы, высморкал цемент и пошагал к начальнику смены. После цехкома дошел до замдиректора. Писал заявления об уходе. Качал права, кланчил и носил справки из поликлиники.

– Исхудал-то... – Жена заботливо подкладывала в тарелку.

Потом (вырвал отпуск) жена плакала. Не верила. Вызнавала у друзей, не завел ли он связь: с кем едет? Они ссорились. Он страдал.

Страдал и мечтал.

Дочка решила, что они разводятся, и тоже выступила. Показала характер. Завал.

Жена стукнула условие: путевку дочке в пионерский лагерь. Он стыдливо сновал с цветами и комплиментами к ведьмам в профком. Повезло: выложил одной кафелем ванную, бесплатно. Принес – пропуск в рай.

В мае жена потребовала ремонт. Иванов клеил обои и мурлыкал: «Ван вэй тикет!» – «Билет в один конец». Еще и новую мойку приволок.

Счастье круглилось, как яблоко – еще нетронутое, нерастраченное в богатстве всех возможностей.

Просыпаясь, он отрывал листок календаря. Потом стал отрывать с вечера.

Вместо телевизора изучал теперь атлас. Жена прониклась: советовала. Дочка читала из учебника географии.

Лето шло в зенит.

Когда осталась неделя, он посчитал: сто шестьдесят восемь часов.

Врубая вибратор, Иванов пел (благо грохот глушит). По утрам он приплясывал в ванной.

Чемодан собирал три дня. Захватил старое одеяло – лежать.

Прощание получилось праздничное. На вокзале оркестр провожал студенческие отряды. Жена и дочка улыбались с перрона.

Один, свободен, совсем, целый месяц – впервые за сорок лет.

В вагон-ресторане он баловался вином и улыбался мельканию столбов. Поезд летел, но одновременно и полз.

У пыльного базарчика он расспросил колхозничков и затрясся в автобусе.

Кривая деревенька укрылась духовитой от жары зеленью. Иванов подмигнул уткам в луже, переступил коровью лепешку и стукнул в калитку.

За комнату говорливый дедусь испросил двадцатку. Иванов принес продуктов и две бутылки. Выпили.

Оттягивал. Дурманился предвкушением.

Излучина реки желтела песчаной кручей. Иванов приценивался к лесу. Толкнуло: раскидистая сосна у края.

Завтра.

...Петухи прогорланили восход. Иванов сунул в сумку одеяло и еды. Выбрисся. У колодца набрал воды в термос.

Кусты стряхивали росу. Позавтракал на берегу, подальше от мычания, переклички и тракторного треска. Воздух густел; припекало.

Приблизился к *своей* сосне. Он волновался. Расстелил одеяло меж корней. Лег в тени, так, чтоб видеть небо и берег. Закурил и закинул руку под голову.

И стал думать.

Облака. Речной плеск. Хвоинка покалывала.

Снова закурил. И растерянно прислушался к себе.

Не думалось.

Иванов напрягся. Как же... ведь столько всего было.

Вертелся поудобней на бугристой земле. Сел. Лег.

Ни одной мысли не было в голове.

Попробовал жизнь свою вспомнить. Ну и что. Нормально все.

Нормально.

– Вот ведь черт, а. – Иванов аж пот вытер оторопело. Ведь так замечательно все. И – нехорошо...

Никак не думалось. Ни о чем.

И хоть бы тоска какая пришла, печаль там о чем – так ведь и не чувствовалось ничего почему-то. Но ведь не чурбан же он, он и нервничал часто, и грустил, и задумывался. А тут – ну ничего.

Как же это так, а?

Еще помучался. Плюнул и двинул в магазин. Врезать.

Не думалось. Хоть ты тресни.

Не думаю о ней

Тучи истончались, всплывая. Белесые разводья голубели. Луч закрытого солнца пере-скользнул облачный скос. Море вспыхнуло.

Воробьи встреснули тишину по сигналу.

Троллейбус с шелестом вскрыл зеленоглянцевый пейзаж по черте шоссе.

Прошла девушка в шортах, отсвечивали линии загорелых ног. Он долго смотрел вслед. Девушка уменьшилась в его глазах, исчезла в их глубине за поворотом.

– Паша, как дела, дорогой? – аджарец изящно помахал со скамейки.

Паша приблизил сияние белых брюк и джемпера.

– В Одессу еду, – пригладил волосы. – В университет поступил, на юридический.

– Как это говорится? – аджарец дрогнул усами. – С Богом, Паша, – сердечно потрепал по плечу.

Они со вкусом прощались.

Он следил за ними, улыбался, курил.

Кончался сентябрь. Воздух был свеж, но влажный, с прелью, и лиловый мыс за бухтой прорисовывался нечетко.

Сквер спускался к пляжу. Никто не купался. Море тускнело и врезалось зубчатой пеной.

Капля прозвучала по гальке и, выждав паузу, достигли остальные.

Он встал и направился в город.

Дождь мыл неровности булыжников. Волнистые мостовые яснили. Улочки раскрывались изгибами.

В полутемной кофейне стеклянные водяные стебли с карнизов приплясывали за окном. Под сурдинку кавказцы с летучим азартом растасовывали новости. Хвосты табачного дыма наматывались лопастями вентиляторов.

Величественные старцы воссели на стулья, скребнувшие по каменному полу. Они откидывали головы, вещая гортанно и скорбно. Коричневые их сухощавые руки покоились на посохах, узлы суставов вздрагивали.

Подошла официантка с неопрятностью в походке. Запах кухни тянулся за ней. Она стерла звякнувший в поднос двугривенный вместе с крошками.

На плите за барьером калились джезвы. Аромат точился из медных жерл. Усач щеголевато разводил лаковую струю по чашечкам, и их фарфоровые фары светили черно и горячо.

Он глотнул расплав кофе по-турецки и следом воды из запотевшего стакана. Сердце стукнуло с перерывом.

Старики разглядывали блестящую тубу из-под французской помады. Один подрезал ее складным ножом, пристраивая на суковатую палку. Глаза под складчатыми веками любопытствовали ребячески.

Остаток кофе остыл, а вода нагрелась, когда дождь перестал. Просветлело, и дым в кофейне загустел слоями.

Он пошел по улице направо.

Базар был буен, пахуч, ряды конкурировали свежей рыбой, мандаринами и мокрыми цветами. Теряясь в уговорах наперебой и призывах рук, он купил бусы жареных каштанов. Вскрывая их ломкие надкрылья, с интересом пожевал сладковатую мучнистую мякоть.

Серполиций грузин ощупал рукав его кожаной куртки:

– Продай, дорогой. Сколько хочешь за нее?

– Не продаю, дорогой.

– Хочешь пятьдесят рублей? Шестьдесят хочешь?

– Спасибо, дорогой; не продаю.

Грузин любовно следил за игрушечной сувенирной финкой, которой он чистил каштаны. Лезвие было хорошо хромировано, рукоятка из пупырчатого козьего рога.

– Подарок, – предупредил он. – Друг подарил.

Тогда он гостил у друга в домике вулканологов. Расстояние слизнуло вуаль повседневности с главного. Они посмеивались над выдохшимся лекарством географии. Вечерние фразы за спиртом и консервами рвались. Им было о чем молчать. Дождь штриховал паузы, шуршал до утра в высокой траве на склоне сопки.

...Допотопный вокзальчик белел под магнолиями в центре города. Пустые рельсы станции выглядели нетронутыми. Казалось, свистнет сейчас паровозик с самоварной трубой, подкатывая бутафорские вагоны с медными поручнями. В безлюдном зале сквозило влажным кафелем и мазутом. Древоточцы тикали в сыплющихся панелях. Расписания сулили бессрочные путешествия, преодолевающие терпение.

– Вам куда? – полуусопшая в стоялом времени кассирша клюнула приманку разнообразия.

– ...

Сумерки привели его к саду. Чугунные копыа ворот были скованы крепостным замком. Скрип калитки звучал из давно прошедшего. Шаги раскалывались по плитам дорожки.

Листья лип чутко пошевеливались. Купол церкви стерегся за вершинами. Грузинские надписи вились по древним стенам. Смирившаяся Мария обнимала младенца.

...В кассах Аэрофлота потели в ярких лампах среди реклам и вазонов, проталкивались плечом, спотыкаясь о чемоданы, объясняли и упрасивали, просовывая лица к окошечкам, вывертывались из сумятицы, выгребая одной рукой и подняв другую с зажатыми билетами; он включился в движение, через час купил билет домой на утренний самолет.

Прокалывали небосвод созвездия и одиночки.

Пары мечтали на набережной. Он спустился к воде. Волна легла у ног, как добрая умная собака.

Сухогрузы у пирсов светились по-домашнему. Иллюминаторы приоткрывали малое движение их ночной жизни. Изнутри распространялось мягкое металлическое сопение машины.

Облака, закрывая звезды, шли на юг, в Турцию.

Ему представились носатые картинные турки в малиновых фесках, дымящие кальянами под навесом кофеен на солнечном берегу.

За портом прибой усилился; он поднялся за парашют. Водяная пыль распахивалась радужными веерами в луче прожектора.

Защелкал слитно в неразличимой листве дождь.

В тихом холле гостиницы швейцар читал роман, облушенный от переплетов и оглавлений. Неловкие глаза его не поспевали за торопящейся перелистывать рукой.

Коридорная сняла ключ с пустой доски и уснула на кушетке.

Номер был зябок, простыни влажноваты. Он открыл окно, свет не включал.

Не скоро слетит в рассвете желтизна фонарей.

И – такси, аэропорт, самолет, и все это время до дома и еще какие-то мгновения после привычно кажется, что там, куда стремишься, будешь иным.

Он расчеркнулся окурком в темноте.

Разные судьбы

Полковник сидел у окна и наблюдал ландшафт в разрывах облаков. Капитан подремывал под гул моторов.

Полковник почитал, решил кроссворд, написал письмо и достал коробку конфет:

– Угощайтесь.

Они были одного возраста: капитан стар, а полковник молод. Сукно формы разнилось качеством: полковник выглядел одетым лучше.

– Где служишь, капитан?

В дыре. Служба не пошла. Застрял на роте. Что так? Всякое... Солдатик в самоходе начудил. ЧП на учениях... Заклинило.

Полковник наставлял с командных высот состоявшейся судьбы. Недавно он принял дивизию – «пришел на лампы». В колодках значилось Красное Знамя.

– Афган. – Он кивнул.

Отвинтил бутылку. Приложились. Полковник живописал курсантские каверзы – счастливые годки:

– ...и проиграл ему шесть кирпичей – в мешке марш-бросок тащить. И – р-рухнул через километр. А старшина приказывает ему... ха-ха-ха! возьмите его вещмешок! Мы все попадали. И он сам пер... ох-ха! девять километров! Стал их вынимать, а старшина... ха-ха!

Капитан соблюдал веселье по субординации. Его училище было скучноватей; серьезнее. Наряды, экзамены:

– ...матчасть ему по четыре раза сдавали. И – без увольнений.

Полковник расправился с аэрофлотовским «обедом». Капитан ковырялся.

– ...приводит на танцы: знакомьтесь, говорит, – моя невеста. А он так посмотрел: э, говорит, невеста, – а хотите быть моей женой! А она – в глаза: а что? да! И – все! Потом майор Тутов, душа, ему месяц все объяснял отдельно – ничего не соображал.

– А у нас один развелся прямо в день выпуска – ехать с ним отказалась, – привел капитан. Долго вспоминали всякое... Оба летели на юбилейную встречу.

– Сколько лет? И у меня пятнадцать. Ты какое кончал?

– Первое имени Щорса.

– Ка-ак?! – не поверил полковник. – Да ведь я – Первое Щорса.

Оба сильно удивились.

– А рота?

– Седьмая.

– Ну и дела! И я седьмая! А взвод?

– Семьсот тридцать четвертый.

– Т-ты что! точно? Я – семьсот тридцать четвертый! Стой... – полковник просиял: – как же я тебя сразу не узнал! Шаскольский!

– Никак нет, товарищ полковник, я...

– Да кончай, однокашник: без званий и на ты... Луговкин!

– Да нет, я...

– Стой, не говори! Худолей?... нет... Бочкарев!!

– Власов я, – извиняющийся представился капитан.

– Власов! Власов... Надо же, сколько лет... даже не припомню, понимаешь... А-а! это у тебя в лагерях танкисты шинель пристроили?

– У меня? шинель?..

– Ну а меня, меня-то помнишь теперь? Узнал?

– Теперь узнал. М-мм... Германчук.

– Смотри лучше! Синицын! Синицын я, Андрей! Ну? На винтполигоне всегда макеты поправлял – по столярке возиться нравилось.

– Извините... Гм. Вообще этим полигонная команда занимается.

– Ну – за встречу! Ах, хорошо. А как Худолей на штурм полосы выступал? в ров – в воду плюх, мокрый по песку ползком, под щитом застрял – и смотрит вверх жалобно: умора! А на фасад его двое втащили, он постоял-постоял на бревне – и медленно стал падать... ха-ха-ха! на руки поймали: цирк! А стал отличный офицер.

– Отличник был такой – Худолей, – усомнился капитан. – Не... А помните, Нестеров, из студентов, в личное время повести писал?

– Нестеров? Повести? Это который гимнаст, что ли? Он еще щит гранатой проломил, помнишь?

– Щи-ит? Может, у меня тогда освобождение от полевой было... А помните, как Вара перед соревнованиями команду гонял?

– Кто?! Вара?! Да он через коня ласточкой – носом в дорожку летал. А майора Турбинского с ПХР помнишь?

– Турбинского?.. Не было такого майора. Вот майор Ростовцев – он нам шаг на плацу в три такта ставил, это точно.

– Какой Ростовцев, строевую Гвоздев вел! А майор Соломатин – стрелковую. А Бондарьков – разведку.

– Только не Соломатин, а Соломин. И он подполковник был. А вел тактику. Седоватый такой.

Оба уставились друг на друга подозрительно.

– Слушай, – задумчиво сказал полковник, – а ты где спал?

– У прохода, третья от стены. Под Иоаннисяном.

– Под Иоаннисяном Андреев спал, не свисти. Пианист.

– Какой пианист?! он и в строю-то петь не мог. А все время тратил на конспекты – лучшие в роте, по ним еще все готовились.

– Андреев, что я, не помню. А я спал у среднего окна.

– У среднего окна Германчук спал.

– Ну правильно. А я рядом.

– Рядом Богданов. Они двое сержанты были.

– Я! Я ефрейтор был.

– Ефрейтором Водопьянов был.

– А я кем был?! – завопил полковник. – А я где спал?! Развелось вас! историки! Тебе только мемуары писать!..

Капитан виновато выпрямился в кресле.

– Ты скажи точно – ты в каком году кончал?..

Самолет пошел на посадку.

– А Гришу, замкомвзвода, пилотку всегда ушивал, чтобы углами стояла, помнишь?

– Никак нет, не помню. А старшего лейтенанта Бойцова помните?

– Какого Бойцова?!

Полковник был раздражен. Капитан растерян.

– Что же это за белиберда получается, – недоумевал полковник. – Ничего не понимаю...

В аэропорту он взял капитана в такси. Приехали к подъезду с вывеской бронзой по алому.

– Вот оно! – сказал полковник.

– Оно, – подтвердил капитан.

Легионер

Его родители эмигрировали во Францию перед первой мировой войной. В сороковом году, когда немцы вошли в Париж, ему было четырнадцать. Он был рослый и крепкий подросток.

Родители были взяты заложниками при облаве в квартале. Он прочитал на стене объявление о расстреле.

Он бежал в маки. Цель, смысл жизни – мстить. Было абсолютное бесстрашие отпетого мальчишки: отчаяние и ненависть.

Всей мальчишеской страстью он предался оружию и войне. Он лез на рожон. В пятнадцать лет он был равным в отряде. Он вел зарубки на ложе английского автомата. В сорок четвертом, когда партизаны вступили в Париж преж де авангардов генерала Леклерка, ему было восемнадцать лет и он командовал батальоном франтиреров.

Он праздновал победу в рукоплесканиях и цветах. Но война кончилась, и ценности сменились. Герой остался нищим мальчишкой без профессии. Он пил в долг, поминал заслуги и поносил приспособленцев. Был скандал, драка, а стрелять он умел. Замаячила гильотина.

...Он записался в Иностранный легион. Вербовочный пункт отсекал слежку, прошлое исчезало, кончался закон: называл любое имя.

Он умел воевать, а больше ничего не умел: любить и ненавидеть. Любить было некого, а ненавидел он всех. Капралом был румын. Взводным немец. Власовцы, итальянцы, усташы, четники, уголовники и нищие крестьяне.

На себе стоял крест: десятилетний контракт не сулил выжить. Он дрался в Северной и Экваториальной Африке, в Индокитае. Легион был надежнейшей частью: не сдавались – прикончат, не бежали – некуда, не отступали – пристрелят свои. Держались, сколько были живы и имели патроны.

Он узнал, что такое легионерская тоска – «кяфар». Пронзительная пустота, безысходность в чужом мире (джунгли, пустыня), бессмысленность усилий, – безразличие к жизни настолько полное, что именно оно и становилось основным ощущением жизни.

Разум и совесть закуклились. Отребе суперменов, «солдаты удачи», наемное зверье – они были вне всех законов. Жгли. Вырезали. Добивали раненых. Выполняли приказ и отводили душу. Личный состав взвода менялся раз за разом. Он был отчаян и везуч – выжил.

По окончании контракта он получил счет в банке и чистые документы: шепетильная Франция одаряла легионеров всеми правами гражданства. Лысый, простреленный, в тридцать лет выглядящий на сорок, он жил на скромные проценты. Гулял по бульварам. Молодость прошла; проходила жизнь.

Кончались пятидесятые годы. Запахло алжирской войной. Только не воевать: его трясли кошмары. Русские эмигранты говорили о родине и тянулись в Союз. Он вспомнил свое происхождение. Родители рассказывали ему об Одессе. Он пошел в советское посольство.

...В тридцать три он начал новую жизнь. Аппетит к жизни всколыхнулся в нем: здесь все было иначе.

Он поступил в электротехнический институт. Влюбился и женился. Родился ребенок; защитили дипломы; получили комнату. Он уже говорил по-русски без акцента, зато акцент появился во французском.

Нормальный инженер вставал на ноги. Терзаясь и веря, он рассказал жене о себе. Она плакала в ужасе и восхищении. Не верила, пока не свыкла.

Всех забот у него казалось – что подарить жене и детям. Лысенький, очкастый, небольшой, а – крепок, как дубовый бочонок.

Авантюристическая жилка ожила в нем и заиграла. Он занялся альпинизмом, горными лыжами, отпуск работал спасателем в горах. Потом увлекся дельтапланером. Парил под белым парусом в синем небе и хохотал.

Свистульки

Он очнулся нагой на берегу. Рана на голове кровоточила.

Сначала он пытался унять кровь. Прижимал рукой. Промыл рану соленой жгучей водой. Отгонял мух. Потом нарвал листьев и осторожно залепил. В дальнейшем рана зажила. Шрам остался от лба до темени. И иногда мучали головные боли.

Возможно от удара по голове, ему начисто отшибло память. Если он видел какой-то предмет, то вспоминал, что к чему в этой связи. А с чем не сталкивался – о том ничего не помнил.

Изнемогая от жажды, он четыре дня скитался по лесу и набрел на ручей. Ел он ягоды и корешки (с опаской, несколько раз отравившись). Первый дождь он переждал под деревом. При втором построил шалаш. Впоследствии он построил несколько хижин: одну из камней у береговой скалы, другую в лесу у раздвоенной пальмы, из сучьев и коры. Хижины выглядели неказисто, но от непогоды укрывали. А когда он наткнулся на глину и приспособил для обмазки, жилища стали хоть куда.

Наблюдая, как чайки охотятся на рыбу, он пытался добывать ее руками, палкой, камнем, отказался от безуспешных способов и сложил в лагуне ловушку-запруду из камней, в отлив удавалось поймать. Собирал моллюсков. Из больших, с твердым глянцем листьев соорудил подобие одежды, защиту от жгучего солнца. Насушил травы для постели. Вылепил посуду из глины.

Жизнь наладилась, лишь немного омрачала настроение язва на ноге. Она саднила и мешала при ходьбе. Однако не настолько, чтоб он не смог предпринять путешествие на гору с целью осмотреться. Он взбирался сквозь заросли навверх с восхода до заката и остановился на вершине, задыхаясь: кругом до горизонта темнел океан, и солнце угасало за его краем. Это был остров.

На вершине горы он приготовил сигнальный костер. Рядом сделал хижину и стал глядеть вдаль, где покажется корабль. Он спускался только за водой и пищей и очень торопился обратно.

Через два года он, потеряв сначала надежду на корабль, вслед за ней потерял уверенность, что вообще существуют корабли, да и сами другие люди тоже. Нет – значит нет. А что было раньше – строго говоря, неизвестно. Голова иногда очень сильно болела. Даже из происшедшего на острове он уже не все помнил.

Он вернулся к хозяйству. Четыре добротные хижины, запас вяленой рыбы и сушеных корней, кувшины с водой, протоптанные тропинки, инструменты из камешков, палок, раковин и рыбьих костей. Конечно, обеспеченный быт требовал немало труда.

Выковыривая как-то моллюска из глубин витой раковины тростинкой, он дунул в тростинку, чтоб очистить ее от слизи – и получился свист. Ему понравилось. Он подул еще, с удовольствием и интересом прислушиваясь к звуку. Потом дунул в другую тростинку – та тоже свистела, но чуть иначе, по-своему.

Он развлекался, увлеченный. Тростинки, толстые и тонкие, надломленные и длинные – каждая имела свой звук. Он улавливал закономерности.

Первая мысль, которая пришла ему наутро – подуть в полую раковину. Раковина зазвучала басовито и мощно. Другие раковины тоже звучали. Он стал сортировать их по силе и высоте звука.

Вскоре он уже обладал сотней разнообразнейших свистулек. Были там из пяти, восьми и более неравных тростинок, скрепленных глиной, были глиняные и из раковин, с дырочками и без, прямые и гнутые. Он придумывал комбинированные, позволяющие извлекать сложный звук.

У него обнаружился музыкальный слух. Он научился наигрывать простенькие мелодии, переходя к более сложным. На лице его появлялось при этом задумчивое и болезненное выражение, – возможно, он пытался вспомнить многое... и не мог, но как бы прикоснулся к забытой истине, хранящейся, видимо, где-то в глубинах его существа, куда не дотягивался свет сознания.

Он познал в этом наслаждение и пристрастился к нему. Совершенствовал мелодии и сочинял новые. Иногда у него даже вырывался смешок, появлялась слеза – а раньше он смеялся только при удачной рыбалке, а плакал от боли.

Хозяйство терпело некоторый ущерб. Усладиться мелодией было иногда желанней, чем добывать свежую пищу, коли какая-то оставалась.

Он, вполне допустимо, полагал себя гением. Не исключено, что так оно и было.

Гора на острове оказалась вулканом. Вулкан начал извержение утром. Плотный грохот растолкнул воздух, пепел завесил небо. Белое пламя лавы излилось на склоны, лес сметался камнепадом и горел. А самое скверное, что остров стал опускаться в океан. Это произошло тем более некстати, что с некоторого времени человека гнело несовершенство последних мелодий, а накануне вырисовалось рождение мелодии замечательнейшей и прекраснейшей.

Он оценил обстановку, вздохнул, взял вяленой рыбы и кувшин с водой, взял любимую свистульку из восьми тростинок, четырех раздвоенных глиняных трубочек и двух раковин по краям, и стал пробираться через хаос и дымящиеся трещины к холму в дальней части острова. Там он отдохнул, закусил, и принялся с бережностью нащупывать и строить мелодию. Устав, он пил воду, разглаживал пальцами губы и играл дальше.

Не то чтоб он не боялся или ему было все равно. Но он понимал, что – а вдруг уцелеет; и от его сожалений ничего не зависит; надо же чем-то занять время и отвлечься от грустной перспективы; хоть насладиться любимым занятием; да и – просто хотелось, вот и все.

Извержение продолжалось, и остров опускался. Через сутки волны плескались вокруг холма, где он спасался. У него еще оставалось полрыбы. Когда сверху летели камни, он прикрывал собой инструмент. Если ему не удавался очередной сложный пассаж, он ругался и топал ногами. А когда мелодия звучала особенно чисто и завораживающе, он прикрывал глаза, и лицо у него было совершенно счастливое.

Практически невероятно

Все уладится

Понедельник – день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того почище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.

В понедельник с утра Чижиков успел поскандальить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук валилось.

Значился Чижиков в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов – о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов – о подстраховке директоров и с автобазой – о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.

Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.

Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка становилась какая-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.

Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижиков?» – трубка эта чертова телефонная аж плавилась у него в руке, и голос осип.

Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный и потный весь, – что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились – а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.

– Я вас выгоню в шею! В три шеи!! – потеряв остатки терпения, орал директор. – Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? – Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.

Смешливый Чижиков не удержался и хрюкнул.

– Вот-вот, – устало сказал директор и опустился в кресло. – Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.

– Петр Алексеевич... – умоляюще пробормотал Чижиков.

– Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия – а Кеша Чижиков забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?

– Во второй, – прошептал Чижиков, переминаясь на широкой ковровой дорожке.

– А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?

Чижиков взмок.

– Я думал, это посторонние, – скорбно сказал он.

– Кеша, – непреклонно сказал директор, – знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?

Чижиков упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.

– А кто обругал Пальцева? – упал тяжкий довод. – Это ж надо допереть – пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!

– Ох!..

– Не мед характер у старика, – согласился директор. – Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним – матом. Он – жалобу, мне – замечание сверху!..

– Я ведь извинялся, – взмолился Чижиков.

– А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!

– Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, – безнадежно сник Чижиков. – Глафира Семеновна распорядилась убрать лишнее, показала на угол – а я не разобрался.

– Вот тебе две недели, – приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. – Оглядишь, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.

– Петр Алексеевич, – Чижиков прижал руки к галстуку, – Петр Алексеевич, я больше не буду.

– Кеша, – ласково поинтересовался директор, – у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шеи?

...За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.

– Голубчик, – сказал директор. – Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.

Чижиков махнул рукой и пошел к дверям.

Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.

Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.

Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижиков медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.

В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.

Фильм Чижикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.

Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц – гусей, наверное, – или лебедей? – тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту, стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.

– Сколько можно говорить, что музей закрыт!

– Что?!

– Закрыт музей! – закричала смотрительница и замахала руками. – Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!

Чижилов подумал, что надо ийти домой, и на душе у него стало плохо.

Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижилова промокли. Завернул в гастроном – продукты обычно он покупал – но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.

А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавляя гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.

Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чающую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, устала на Чижилова круглые злые глаза болонки.

– Пьяный явился, – нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.

– Ну что вы. – Чижилов заискивающе улынулся, старательно вытирая ноги.

– Нарезался, милок! – наращивала Нина Александровна. – Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверь, а днем пьет!

– Молчать!! – белогвардейски гаркнул Чижилов, меняя цвета лица, как светолор.

Глюкнула Нина Александровна, забила в угол, трясла крашеными кудельками. Победно топая, прошествовал Чижилов к своей комнате по узкому коридору.

– Ах ты паразит! – взбеленилась Нина Александровна вслед. – Я к участковому пойду, я квартирополномоченная, я тебя выселю отсюдова, пьяная морда!

– Расстреляю! – Чижилов запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.

Фамилия Нины Александровны была – Чинова, и Чижилова этот факт приводил в бешенство.

В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижилов подошел к сыну, погладил по голове.

– Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс – велосипед куплю, как обещал.

– «Орленок»?

– «Орленок».

Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижилову.

– Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?

– Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет – и переедем.

– Через год?

– Примерно.

– Это же так долго – год!

– Ты и не заметишь, как пройдет. – Чижилов похлопал сына по плечу. – Весна, лето, осень – и все.

– Па-ап, а мы поедем летом на юг? Только Шпаков ездил, говорит – так здорово.

– Поедем, – решил Чижилов. – Обязательно поедем.

Да, подумал он, возьмем и поедем.

– Есть хочешь? – спросил он.

– Ага.

– Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.

Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно...

Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?

– Так, – сказала жена. – Телевизор смотрят, а посуда грязная на столе стоит.

– Ну, Эля, – примирительно забурчал Чижигов. – Сейчас я помою, ну... не волнуйся.

– Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли? Илюшка сжался и опустил глаза в пол.

– Через месяц кооперативный дом сдают, – мстительно сообщила Элеонора. – Хомяковы переезжают.

– Что ж поделать, если у нас нет денег на кооператив? – рассудительно сказал Чижигов. – Скоро получим по городской очереди.

– Твое скоро... – тяжело сказала она. – Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи привез за лето – строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название...

– Ну, Элечка, – попытался Чижигов свести все вмировую. – Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же...

Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.

– Дурак, – с ненавистью процедила она.

– Наверное, – вздохнул Чижигов и пошел на кухню мыть посуду.

Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижигов безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.

Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в шербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студеный быстрый ручей, клики гусей в вышине... Наваждение – аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.

Чижигов понюхал его. Фрукт пах затхлостью и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижигов попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.

Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижигов пристоял его поаккуратней... Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях – и просиял от удачной мысли.

Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны – и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малоприличную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, посоображал кое-что. И довольный отправился спать.

Улегся он шумно, не заботясь, что визжала и дренкала хлипкая раскладушка.

На работу Чижигов с утра не пошел – все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.

Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, олифой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.

– А-а!.. – встретил он Чижигова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижигов, пожимая ее.

– Добрый день, – дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.

– Здорово, Кешка, старик, – душевно сказал художник и заулыбался. – Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.

– Я тоже, – сказал Чижигов, – я здорово рад, Володя, – и еще с чувством потряс руку.

– Значит, за встречу, – художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обтер стаканы длинным пальцем. Со своей седой

пряжкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.

– Со свиданьем, – пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, щелкнул диковинной зажигалкой:

– Как живешь-то, рассказывай.

– Нормально, – сказал Чижиков. – Квартиру скоро должен получить.

– Это хорошо, – одобрил художник. – А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе... – Он закрутил головой, завздыхал.

– Женат? – осведомился.

– Женат... Уж десять лет.

– Ну-у? – восхитился художник. – Молодец! И дети есть?

– Сын, – сказал Чижиков. – Во второй класс ходит.

– Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, – хохотнул.

Чижиков заерзал.

– Так что у тебя за дело-то, выкладывай, – разрешил художник.

Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.

– Гляди, – прошептал он...

И вытащил лесенку.

Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.

– А? – торжествуя спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.

– Нет, – сказал художник, – так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.

Он машинально откусил персик.

– Экая дрянь! – сплюнул, поморщившись. – Синий какой-то внутри, – швырнул пакостный плод в угол. – Так и отравиться можно.

– Тебя ничего не удивляет? – опешил Чижиков.

– О чем ты? А-а... – Художник снисходительно усмехнулся. – У нас, брат, в изобразительном искусстве, – покровительственно объяснил он, – такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, – спохватился он, – я вообще... Давай-ка еще по коньячку.

Озадаченный Чижиков выпил.

– Ты наведивайся почаще, – пригласил художник, – я тебе такого порасскажу!..

Вот так – так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача... С кем бы мне потолковать обстоятельней...

И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партой сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах, очками обзавелся, времени не хватало ему всегда, и их дружба помалу иссякла.

Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.

Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста – каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, – он потащил его куда-то наверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатку.

Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.

– Что, – хмыкнул Гришка, – не похоже на лабораторию физика в кино?

– Да вообще-то я иначе себе все представлял, – сознался Чижиков.

Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.

– Ничего, – мечтательно потянулся Гришка, – осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.

Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности – классический физик, точно из кино.

– Давай свое дело. Будем разбираться. – Он кинул взгляд на часы.

К этому визиту Чижиков подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.

– Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, – произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Брильянтовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.

– Смотри внимательно, – попросил он. Гришка уселся поудобнее и стал внимательно смотреть.

Чижиков осторожно сунул в открытку два пальца. Хрустнул переломленный стебель. Желтая лилия мелко подрагивала в его руке. Росинка стекла в чашечку. На открытке остался размытый фон.

– За-ба-вно, – изрек Гришка. Повертел открытку, посмотрел на свет, пощупал. – За-ба-вно. Слушай, а как ты это делаешь?

– Просто, – сказал Чижиков. – Беру и делаю. Сам не знаю как. Вот так.

Он взял открытку и приладил лилию на место. Теперь не было на лепестке капли росы.

– И давно? – спросил Гришка с интересом.

– Два дня. Ночью, понимаешь, я курил в коридоре...

– Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, – забубнил Гришка, сведя глаза к переносице. Может, он другое что сказал, Чижиков все равно ни хрена не понял.

– Слушай, Кеш, – Гришка, косясь на часы, потерял Чижикова за рукав. – Я, ты извини, срочно должен в подвал бежать, там сейчас опыт пойдет. А тебе с этим надо в пятую лабораторию, к Аристиду Прокопьевичу, скажи – от меня. Как пройти, я объясню.

Он выдрал из конторской книги лист и начеркал китайскую головоломку, закончив ее крестиком.

– Сначала здесь, а после сюда и сюда, ясно, да? Вечером позвони мне, ты связи со мной не теряй.

Около часа Чижиков провел в движении по невообразимо заковыристой, но с неумолимостью физического закона повторяющейся траектории, пока не выпал из нее у дверей пятой лаборатории, которая временно расположилась в помещении третьей. И выяснил, что Аристид Прокопьевич вчера вылетел на месяц в Новосибирск читать лекции, но это не точно, а где точно, никто не знает. Возможно, во второй лаборатории, но это вряд ли.

Еще двадцать минут Чижиков пробирался на волю.

Устало шлепая по Менделеевской линии, поднял воротник от мелкого дождика и загрузил.

Всю пятницу он провел в раздумьях. Гришку по телефону застать не удавалось ни дома, ни на работе. И дождь все моросил.

В иероглифах записных книжек наткнулся на старый домашний адрес Сережки Бурсикова, тихого мальчонки, насморк еще у него не проходил вечно. В свое время ходил слушок, что он после школы в духовную семинарию подался.

А черт его знает, подумал Чижигов... Подумал и решился.

Остаток дня он потратил на наведение справок.

Сел в субботу вечером на поезд, отправлявшийся с Витебского вокзала, и поехал в один белорусский городок, где Бурсиков был настоятелем церкви. Жене сказал – в командировку; она, похоже, и не огорчилась ничуть.

Церковь стояла в заснеженном саду на холме, недалеко от базара. У ворот курили на лавочке двое.

Чижигов с некоторой опаской поздоровался, поклонившись слегка, даже шапку снял на всякий случай – благо тепло было – и осведомился, где может видеть настоятеля, Сергея Анатольевича Бурсикова?

– Вы по какому делу? – спросил тот, что постарше.

– По личному, – быстро ответил Чижигов. Уж Ильфа и Петрова он читал.

– Туда, – пожилой махнул на желтый флигель у ограды.

Во флигеле оказалась часовня, а в коридорчике позади – всякая канцелярия-бухгалтерия; Чижигов робел несколько. Он никогда не был в церкви.

Отрешенные лики святых темнели с икон. Согбенная старушка протирала тряпочкой возвышение, украшенное серебряными узорами. Крупной поступью, глядя перед собой, в черной до полу рясе, проследовал высокий прямой мужчина. Старушка бесшумно засемила к нему, поцеловала красную крепкую руку с перстнем на указательном пальце.

Воскресная служба кончилась с час, настоятеля Чижигов нашел уже переодетого.

– Я вас слушаю, – бегло сказал настоятель, не предлагая Чижигову сесть.

Выглядел он, вопреки ожиданию, заурядно и, по мнению Чижигова, неподобающе. Без бороды, выбрит был настоятель, коротко подстрижен, в стандартном дешевом костюмчике. И лицо помидором.

– Здравствуйтесь, Сергей Анатольевич. – Чижигов не знал, как себя вести.

– Здравствуйтесь. – Он явно не тянулся к разговору.

– Я Чижигов, – сказал Чижигов.

– М-да?

– Мы учились вместе...

– Э?..

– В одном классе, в школе, Кеша Чижигов, Чижигов, помните?

– Оч-чень приятно. Разумеется. Слушаю вас.

Рядом люди ходили, – не располагала обстановка. Визит грозил рухнуть. Чижигов разволновался и обнаглел.

– У меня очень важное до вас дело. – Он значительно сощурился. – Необходим конфиденциальный разговор. Желательно в нерабочей... м-м... Лучше дома. Я приехал специально.

– Вы настаиваете, – недовольно отметил настоятель. – Подходите к пяти.

Он сказал адрес и взялся за пальто.

Чижигов побродил по городу. На базаре купил три кило отличной антоновки – пусть Илюшка витаминится.

Настоятель принимал его в тесной проходной зале – гостиной, видимо.

– К вашим услугам...

Чижигов повторил номер с открыткой. Настоятель следил зорко.

– И что же? – спросил он наконец.

– Как? – растерялся Чижигов.

– Вы фокусник?

– Это не фокус, – выразительно сказал Чижигов. Ожидая вопроса, крутил бахрому ска-терти. Настоятель неодобрительно посапывал.

– Хотите чаю? – предложил он.

– По-моему, это чудо, – застенчиво объяснил Чижиков.

– Э?... – удивился настоятель.

– Ну ведь... Бог творит чудеса!.. – выдал Чижиков напролом и покраснел.

– Не надо, – осадил настоятель. – Не надо.

– И не в чудесах, – с неожиданной тоской добавил он, – совсем не в чудесах заключается вера. Хотите чаю?

– Да не хочу я чаю! – обозленный Чижиков отчаялся на крайние меры.

В лепной золоченой раме святой Мартин резал пополам свой плащ. Картина напротив: старик с изукрашенным распятием.

– «А теперь делить буду я!» – процитировал Чижиков и отобрал у доброго святого недо-разрезанный плащ. Княжеским жестом пустил его на стол. Пристукнул увесистым золотым распятием.

Пыльный грубый плащ пребывал на столе и пах потом. Придавливал толстые складки тусклый крест с искрящимися камнями.

Лицо настоятеля замкнулось...

– Нельзя ли восстановить порядок? – отчужденно попросил он.

Чижиков плюнул с досады.

– Жертвую на храм, – отвечал в раздражении из прихожей.

Вечером он пил чай в поезде, грыз ванильные сухарики. Долго ворочался на верхней боковой полке, мысль одна все мучила. Ночью он проснулся, лежал.

А мысль эта была такая:

Теперь он может уйти в свою избушку.

С утра заскочив домой положить в холодильник яблоки для Илюшки, он отправился в Русский музей.

Стоял, стоял перед картиной. Будоражащие запахи хвойной чащи, дымка над крышей, казалось, втягивал, приопуская веки.

Сорвал незаметно травинку. Травинка как травинка, зеленая.

Смотрительница уставилась из угла. Эге, засомневался Чижиков, увидит еще кто, скандала не оберешься. Начнут за ноги вытаскивать, с картиной сделают что-нибудь, а потом выкручивайся как хочешь. Надо ночью, решил он. Спрятаться в музее, а когда все уйдут – вот тогда и лезть.

Легко сказать – спрятаться... Придумал. Присмотрел через два зала натюрморт с ширмочкой: можно отсидеться. Натюрморт скульптурой заслонен, смотрительница вяжет, носом клюет, народу нет – подходяще... Для страховки вымерил шагами два раза расстояние до своей картины, теперь с закрытыми глазами нашел бы.

Но сегодняшний вечер захотелось побыть дома. Напоследок, елки зеленые...

Печален и загадочен был он этот вечер. Даже жена в удивлении перестала его пилить. Чижиков целовал часто сына в макушку, переделал все по дому и жене отвечал голосом необычно ласковым и всепрощающим, что ее как-то смущало. Перед сном, тем не менее, поскользнувшись на ее взгляде, улыбнулся с тихой грустью и поставил свою раскладушку.

Он явился в музей около пяти и, улучив момент, без приключений забрался в свой натюрморт. За ширмочкой валялся всякий хлам, он уселся поудобнее и стал ждать.

Переход он задумал осуществить в двадцать ноль-ноль. Пока все разойдутся, пока то да се...

Время, разумеется, еле ползло. Хотелось курить, но боязно было: мало ли что...

А там... Первым делом он сядет в траву у ручья и будет курить, любясь на закат. Потом... Потом напьется воды из ручья, ополоснется, пожалуй, смывая с себя въедливую нечистоту города.

Кусты колышутся под ветром. Прохладно. Вот он встал и пошел к избушке. Оп! – полосатый бурундучок мелькнул в траве. Чижигов постоял, улыбаясь, и поднялся на рассыхающееся крыльцо. Вдохнул с легким счастливым волнением – и толкнул дверь.

Ширма упала. Чижигов вскочил, проснувшись. Без двенадцати минут восемь. Он подрагивал от нетерпения.

Первый шаг его в темном зале был оглушителен. Он заскользил на цыпочках. Шорох раскатывался по анфиладе.

Так... Еще... Здесь!..

Темнел прямоугольник его картины. Скорей взялся потными руками за раму.

Задержав дыхание, закрыв глаза и нагнув, как ныряют, голову – влез.

Что-то как-то...

Осознал: крик. И – предчувствие резануло.

«Не то! – ошибка! – сменили!» – ослепительно залихорадило.

Оскользясь в грязи на пологом склоне, раздираясь нутряным «Ыр-ра!!», зажав винтовки с примкнутыми штыками, перегоняли друг друга, и красный флаг махался в выстрелах внизу у фольварка.

– Чего лег?! – рвась на хрип.

Ощущение. Понял: пинок.

– Оружие где, сука?!.. – давясь, проклекотал кадыкастый, в рваной фуражке.

Обмирая в спазмах, Чижигов хватанул воздух.

– Из пополнения, што ль?

– Да, – не сам сказал Чижигов.

– Винтовку возьми! – ткнул штыком к скорченной фигуре у лужи. – Вишь – убило! И подсумок!

Чижигов на четвереньках ухватил винтовку, рукой стер грязь.

– Встань! В мать! Телихенция... Впер-ред!

Чижигов неловко и старательно, довольно быстро побежал по склону, подставляя ноги под падающее туловище. Кадыкастый плюхал рядом, щерясь, косил на него.

Передние подсыпали к зелени и черепицам окраины, там правее дробно-ритмично затакало, фигурки втерлись в пашню.

– Ах твою в бога!.. – рядом, упав, проскреб щетину. – Конница в балке у них...

Чижигов увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, растягивая в ширину, стремятся к ним.

– Фланг, фланг загинай!.. – отчаянно пропел сосед, пихнул, вскочив, Чижигова, они побежали и еще за ними. Слева перебежали, ложились, выгибая цепь подковой.

Упали, дыша.

Выставили стволы.

Раздерганная пальба.

Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, заворачивая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница.

– Стреляй, твою! – оскалась, сосед вбил затвор.

Как он, Чижигов внимательно передернул со стальным щелком затвор. Локти податливо ползли из упора.

«...Выход – где – запомнить – не найду – как же...» – прострочило в мозгу и не стало, потому что он принял целящийся взгляд поверх конской морды, пеганый в галопе чуть вбок заносил задние ноги, казак привставал на стременах, неверная мушка поддела нарастающий крест ремней на холщовой рубахе...

Всхлипывая горлом, напряженно тараща заслезившийся глаз, потянул спуск и невольно зажмурился при ударе выстрела.

Транспортировка

В комнате накурено. Стены в книжных стеллажах. За пишущей машинкой сидит **1-й соавтор**. Настольная лампа освещает его мясистое лицо и короткопалые руки. **2-й соавтор** расхаживает по ковру, жестикулируя чашкой кофе. Он постарше, лет пятидесяти, худ, выражение лица желчное.

1-й соавтор (*обреченно*). Как всегда... Через неделю истекает последний срок договора, а у нас – конь не валялся...

2-й соавтор (*деловито*). Нужна конкретная зацепка для начала...

1-й соавтор. Это пожалуйста. М-м... Человека раздражает постоянная толкотня перед его домом. Он живет на одной из центральных улиц, рядом с универмагом, и мимо подъезда всегда снуют толпа народа.

2-й соавтор. А в самом подъезде занимаются спекуляцией... Ладно, не отвлекаемся... И вот – человек постепенно начинает замечать, что народу перед его подъездом становится все меньше...

1-й. Так. Как его зовут? Имя для условной страны...

2-й (*листает телефонную книгу, морищит лоб, швыряет на диван*). Что-нибудь двусложное. Тарара-бух... В детстве я думал, что «Три мушкетера» – это «Тримушки Тёра». Какие-то тримушки некоего Тёра. Тримушки... Тримушки-Бух...

1-й. Тримушки-Бабах... Тримушки-Бабай... Тримушки-Бай... Тримушки-Дон...

2-й. Тримушки-Тон... Тримушки-Бит... Тримушки-Тринк...

1-й. Тримушки-Дринк. Джонни упьём уодки.

2-й. Тримушки-Трай...

1-й. Максим Трай. Путешествие на планету Транай. Драй трамвай.

2-й. И черт с ним.

1-й. И черт с ним. Нарекли. Пуцай Тримушки-Трай.

2-й. Портрет.

1-й. Упитанный блондин, рост выше среднего, возможны очки.

2-й. Очки у нас недавно уже были. Ни к чему. Даешь снайперов. Нет, очков не надо. Полноценный человек. Довольно ущербности. Жена, двое детей, дома и на работе никаких неприятностей, и никаких авиационных и прочих катастроф. И никаких инопланетян и рецептов из старинных книг.

1-й. Прах и пепел! Помилосердствуй! Тут можно написать только характеристику для ЖЭКа и некролог!

2-й. Тихо! Тихо. Без штампов. Ему... мм... мм... тридцать три... нет, намек на Христа... тридцать пять, многовато... тридцать два года. О. Расцвет сил.

1-й. Уж вы мои силушки... Гуманитар. Психолог. Нет, к дьяволу психоанализы, нормальный так нормальный. Значит – не молодой профессор. Во: средний уровень. Учитель. Школьный учитель. Литературы.

2-й. Осточертели всем твои учителя литературы. Ну прямо сговор: или литературы, или математики, или физики. Ботаник он! Географ! Чертежник!

1-й. Ага. А также дворник, шорник и по совместительству завхоз, который не ворует. Не будь свиньей – я тебе уступил космос, катастрофы и чудеса – уступи мне литературу, это справедливо.

2-й (*делает останавливающий жест, ставит чашку на торшер, закуривает, сосредотачивается*). Итак, Тримушки-Траю тридцать два года. Он работает учителем литературы в школе. Зарплаты хватает, жена и двое детей, семью любит. Квартира в приличном квартале.

Единственный источник раздражения – толкотня перед домом. А коль раздражает лишь это – ясно, что жизнь у него тип-топ.

1-й. И о карьере сей сеятель разумного, доброго, а также вечного за умеренную зарплату не мечтает. Но – он не маленький человек, нет. У него даже были предложения, да и сейчас он имеет возможность перейти преподавать в университет... э-э... или в издательство... но – он любит свою работу, вот в чем дело... Именно в ней видит смысл. Начальство его ценит, коллеги уважают, ученики любят и даже стараются подражать ему в некоторых привычках.

2-й. И пусть хоть один м-мэрзавец посмеет заявить, что это не фантастика. Да. Причем он ловит себя на том, что с каждым годом ученики его становятся все толковее. Работать с такими – сущее удовольствие. Они много способней тех тупиц, в среднем, чем были в их возрасте большинство его сверстников.

1-й. Детали!

2-й. Выше среднего роста, румяный, очень густые русые волосы зачесывает назад. По вечерам все семейство сидит в гостиной, он тут же проверяет сочинения, двухлетний сын, его копия, возится у него на коленях. Дочке семь лет, любит убирать со стола, изображая хозяйку, часто бьет посуду, что никого не огорчает, кроме нее самой. Квартира стандартная, обстановка стандартная, стулья и диван слегка изодраны котом, непородистым и некастрированным. На лето уезжают к морю, кота оставляют соседям. Кот серый, с белым животом и кончиками лап и черным носом.

1-й. Кот получился... Носит обычно синий костюм, то есть Тримушки-Трай, естественно, а не кот, сорочки голубые или желтые, галстук повязан узким тугим узлом. Всегда на месте за пять минут до назначенного срока. В школе просторные классы, окна во всю стену, учебные стереовизоры, широкие лестницы из искусственного мрамора, стены со звукопоглощающим покрытием, зелень во дворе и прочее подобающее.

2-й. Ну и серый асфальт и мутное небо города, шелест шин, запах бензина, вой подземки и ее заплыванные перроны, огни реклам, рестораны и мусорщики, парки, уголовная хроника...

1-й. Мусорщиков нет – машины. Мусорщики исчезли лет десять назад.

2-й. Уголовной хроники тоже уже практически нет. Примерно в то же время она резко пошла на убыль.

1-й. Десять лет назад произошли некоторые изменения в сенатской комиссии...

2-й. Десять лет назад Тримушки-Трай был полон страха перед неизвестностью. Студентом он принимал участие в студенческих волнениях и демонстрациях. Студенты требовали снижения платы за обучение, отмены воинской повинности и права на труд. На плече Тримушки-Трая остался шрам от полицейской дубинки.

1-й. Дубинка, однако, не сабля. Ладно. Короче, в стране было скверно. Безработица. Кризис. Нехватка топлива, сырья, жилья и чего угодно. Цены росли, зарплаты падали, законы уже сточались, гангстеризм процветал...

2-й. И странно, что они вообще не вымерли...

1-й. В общем, да. Отвали.

2-й. Вперед. (*Выходит в туалет.*)

1-й стучит на машинке. Суть абзаца сводится к тому, что по окончании университета по курсу английской (под вопросом) филологии Тримушки-Трай зарегистрировался на бирже безработных и перебивался полгода на пособие, мел улицы изношенными джинсами и простужался, ночуя на парковых скамейках.

2-й (*входя и заглядывая через его плечо*). Но через полгода ему повезло. Он получил место учителя в специализированной школе. Будучи способным и образованным специалистом, успешно выдержал тесты и прошел по конкурсу – тем более что конкурсы уменьшились,

очередь на бирже начала рассасываться и вообще страна понемногу стала оправляться от кризиса.

1-й. Править придет-ся-а... Переписывать заново.

2-й. Ладно. Вперед. Все отлично. Сейчас Тримушки-Трай не только доволен своим положением. Он доволен правительством – это важнее. За прошедшие десять лет в стране наладилось процветание. В Декларацию прав внесены поправки. Президент переизбран на третий срок. Массы довольны – изобилие. Интеллектуалы довольны – есть применение их мозгам, средства для научных исследований. Демократы довольны – есть полная свобода всяческих волеизъявлений и предпринимательств.

1-й. Хотя последнее – вранье, но об этом Тримушки-Трай может судить только по газетам, правда, зная цену ихним газетам.

Но – все здорово. Вроде, Тримушки-Трая даже на тротуаре перед его домом толкать перестали. В один прекрасный день он обращает на это внимание. Его ни разу не толкнули, когда после работы в час пик он возвращался домой. Он даже удивился. Подумал, что универсальный магазин сегодня не работает. Посмотрел – нет, открыт, правда народу немного. Тримушки-Трай хмыкнул, свернул в свой подъезд и вошел в лифт.

На обед жена подала его любимый бефстроганов с жареным картофелем, спаржу и яблочный пудинг. Отдыхая в кресле с коктейлем, Тримушки-Трай поделился с женой своим наблюдением. Не отрываясь от вязания, жена ответила, что пару недель назад тоже обратила на это внимание, только, скорей всего, они просто привыкли к этому району. Не так уж, в сущности, много людей в пресловутом Большом городе.

Но в воскресенье Тримушки-Трай в своем открытии решительно утвердился. Они отправились гулять с детьми в Центральный Парк. Очереди на карусели не было. Редкие прохожие фланировали по аллеям или отдыхали в тени на скамейках. И почти никто не кормил ручных белок – а когда-то вокруг каждой, спустившейся на землю, собиралась толпа.

У Тримушки-Трая возникло нехорошее сосущее ощущение. Он посмотрел на жену; они поняли друг друга.

2-й. Тем большим событием в спокойной доселе жизни Тримушки-Трая явилась беседа с контрразведчиком Департамента лояльности. В понедельник после уроков директор пригласил его в кабинет и оставил их вдвоем. Изящный молодой человек с интеллигентным лицом повернул в дверях ключ и предъявил Тримушки-Траю удостоверение. Тримушки-Трай удивился и слегка испугался, честно говоря. Он закурил, подумал, спохватился и предложил сигарету контрразведчику. Контрразведчик не курил. Контрразведчик предложил рассказать о себе.

– Так, наверно, в моем досье все указано, – простодушно сказал Тримушки-Трай и порозовел, ощутив свои слова бестактными.

Контрразведчик улыбнулся непринужденно и поощрительно.

– Вы не волнуйтесь, – успокоил он. – Вы лояльный гражданин, и вы, разумеется, понимаете, что в нашей работе, как и в любой другой, имеются свои особенности... если хотите, мы условимся считать этот разговор дружеской беседой без каких бы то ни было последствий. Устроит?

Растерянный, но и успокоенный, Тримушки-Трай изложил недолгую биографию. Контрразведчик в паузах одобрительно кивал. Он был определенно ненавязчив и обаятелен: Тримушки-Трай раскрепостился и поглядывал на него с симпатией.

Контрразведчик перевел разговор на преподавание литературы.

– Вы, мне известно, разработали собственную систему тестов для выяснения интересов ученика и уровня его гуманитарной пригодности, если так можно выразиться? Простите, я не специалист...

Польщенный Тримушки-Трай махнул рукой:

– Ну, уж и целая система... У каждого учителя свои приемы выяснения, кто чем дышит. В зависимости от этого и строишь работу.

Через сорок минут они расстались друзьями – по крайней мере, Тримушки-Трай так чувствовал.

– Во вторник, в десять утра, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. В школе вас подменят. Рабочие часы будут оплачены. Мужской уговор: вся беседа должна остаться между нами. Согласны?

Тримушки-Трай пожал протянутую руку с искренним дружелюбием, какое возникло бы, вероятно, у кролика, снискавшего уважение травоядного удава.

1-й. Поскольку все в природе устроено по принципу взаимодополняемости, то жены простодушных людей, как правило, проницательны; и жена Тримушки-Трая отнюдь не составляла исключения. Из вида и поведения мужа нынешним вечером следовало, что нечто произошло и что это нечто он не намерен подвергать обсуждению. А посему была придумана печаль, претензии, ссора, примирение с коньяком и любовью, и будь Тримушки-Трай реалистом настолько, насколько он сам себя воображал, он понял бы, что в лице его жены Департамент лояльности прохлопал работника с большими данными. Ибо он выложил все, пребывая в уверенности, что делает это абсолютно добровольно, и легкая дрожь нарушителя государственной тайны щеко-тала его.

– Тебе хотят предложить работу, – заключила она.

– Мне? Они? Какую же? – чистосердечно удивился Тримушки-Трай.

– Как сказать... Но они поняли, что ты способен на большее.

Жены маленьких людей часто честолобивы за двоих, если не за все семейство. Самое обидное, что они сплошь и рядом бывают правы в своих анализах обстановки, а вынужденность смириться с тупостью и вялостью суженых ведет их к презрению – если только любовь не оказывается выше обоснованных амбиций. Но Тримушки-Траю везло и здесь – жена любила его. Так что сейчас она просто желала подпихнуть главу семейства в нужном, по ее мнению, направлении, как жука булавкой.

– И ты примешь предложение, – констатировала она.

Сам генерал Джексон Каменная Стена не сумел бы высказать эту формулу тоном более категорическим.

Под напором превосходящей воли Тримушки-Трай принял единственно разумное в подобных ситуациях решение: сделать по-своему, а после отовратиться.

Но – он знал свою жену хорошо. И – любил ее. Из чего следует, что к десяти утра во вторник он не мог бы ответить, кого боится в сложившихся обстоятельствах больше – жены или Департамента лояльности.

2-й. Он позвонил и назвался. Ответили, что пропуск приготовят к одиннадцати часам. На проходной у дежурного. Назвали адрес.

Дежурный был здоровенный мужик с борцовской шеей. Он изучил паспорт Тримушки-Трая и кивнул на окошечко – бюро пропусков. В окошечке пожилая женщина в военной форме выписала пропуск, оторвала от корешка и протянула. Дежурный еще раз изучил – теперь уже пропуск – и кивнул на лифт: «Четвертый этаж».

Тримушки-Трай помедлил, вдохнул-выдохнул перед дверью с нужным ему номером – 407. Часы в конце коридора сипло отзвонили четыре четверти и ударили раз за разом. Тримушки-Трай расправил плечи и постучал.

Дверь распахнулась сама. В просторном затененном кабинете за огромным полированным столом сидел человек в клетчатом пиджаке.

– Прошу вас, – сказал он будничным, чиновничьим голосом.

Тримушки-Трай вошел. Дверь закрылась.

– Садитесь, – чиновник кивнул на глубокое кресло.

Тримушки-Трай сел, утонув в кресле так, что голова его торчала на уровне стола, и это сразу создало ощущение неловкости и зависимости.

Чиновник извлек из ящика стола аккуратную папку и принялся листать. Тримушки-Трай, полагая в папке свое досье, немало готов был отдать за удовлетворение естественного интереса заглянуть туда.

1-й. Да, надо добавить, что в воскресенье вечером Тримушки-Трай позвонил нескольким университетским приятелям. Кого застал – потрепался на житейские темы, пытаясь незаметно переводить разговор в то русло, что в городе стало, вроде, ха-ха, посвободнее. Разговоры сии развития не получили. Возникло неопределенное чувство неудобства, заминки, собеседники соглашались... а черт его знает, может, это просто кажется. То есть понятно, что просто кажется, но... нет, не клеились разговоры. А часть однокашников по старым телефонам не значилась, и телефонные станции разыскать их не сумели. Что ж, поразъехались, дело обычное...

2-й. В жизни Тримушки-Трая наступил самый трудный момент.

1-й. И в нашей повести тоже.

Курят в молчании. Чиновник продолжает листать досье.

2-й. Нет, собственно... Если человек попадает в систему, раньше или позже он все равно узнает об общем положении тех дел, которыми его система занимается. А без людей не обойтись... А берут всегда людей проверенных... и всегда есть средства, которыми можно держать их в узде... В некий день и час Тримушки-Трай, работая на предназначенном ему месте, осознает истину... поэтому оптимальным вариантом представляется сразу выдать ему информацию и проследить реакции... тем паче что система ничем ведь не рискует и в случае его отказа. Суют его на должность не рядового исполнителя, а, как ни крути, своего рода творческого деятеля. Потом – предлагают же не первому попавшемуся, он подходит по всем данным.

Нет – это логично. Тримушки-Трай должен узнать все. Такова логика системы. Ею и будет сейчас руководствоваться чиновник.

1-й. По-твоему, идет?..

2-й. Смотри сам.

Тримушки-Трай скованно сидит в глубоком кресле, и румяным его сейчас назвать трудно.

1-й. Веселенький разговор ему предстоит.

2-й. Ладно. Вперед.

Чиновник поднимает глаза от папки. Глаза у него с желтоватыми в прожилках белками, карие зрачки покрыты голубоватой мутной пленкой.

Чиновник. Простите? Вы инспекция из нулевого отдела?

1-й. Что-оо?

2-й. Нам время исчезнуть.

Хватает 1-го за руку и тащит к двери. Чиновник нажимает ногой под столом кнопку звонка. Два охранника вырастают из дверей.

Чиновник. Почему вошли эти господа?

Охранники изображают позами верноподданность и непричастность.

Потрудитесь объяснить, как вы сюда проникли!

1-й (*восхищенно*). Паршивец, а! Ты, однако, не зарывайся, а то ведь я щас опохмелюсь – и тебя не будет!

2-й (*свистящим шепотом*). Заткнись, кретин, идиот!.. (*Ударяет его локтем в живот. Чиновнику.*) Это типичное недоразумение. Прискорбный казус!.. Видите ли, мы – писатели... (*Теряется, не зная, как вразумительно приступить к объяснению.*)

Чиновник (*с понимающим лицом*). Писатели. Журналисты?

2-й. Ну да, почти...

Чиновник. Удостоверения, пропуска?

1-й. О скот!

Чиновник. Сдать надзору четвертого. Обыскать и изъять по описи. Идентифицировать. Оставить за мной. Подать объяснительные по команде.

Охранники, каждый правой рукой сворачивая левое запястье соавторов, выдворяют их, и дверь закрывается; слышны удаляющиеся по коридору шаги и вопль 1-го соавтора: «Да мать твою!..», переходящий в сдавленное мычание.

Чиновник (*вздыхая, Тримушки-Траю*). И вот из-за такого ЧП порой летит насмарку вся служба. Как прикажете работать в таких условиях? (*Достает из стола пачку сигарет, предлагает Тримушки-Траю, закуривает сам. Доверительно.*) А у меня кардиограмма ухудшилась. Курение противопоказано. Поди брось тут... Держу вот на службе пачку...

Переходит в одно из двух кресел в углу, рядом с журнальным столиком, жестом предлагая Тримушки-Траю занять второе; в стене, отделанной панелью под дуб, открывает маленький бар, разливает по бокалам коньяк и развлекает из сифона.

Ну-с, почувствуйте себя непринужденнее. Мы с вами почти коллеги, кончали один университет, правда, я на девять лет раньше. Социолог. Филолог, социолог, – родственные души. Так вот, не скрою от вас, что хотя видимся мы и впервые, но (*кивок на стол, где осталась пачка*) кое-что, и даже немало, мне о вас известно, – вы понимаете, просто такая у нас работа, как у каждого своя работа, все это обычно, нормально, да – и как ваши взгляды, так и сами вы лично мне глубоко симпатичны. Глубоко! Не сочтите за грубую лесть. Лстить мне вам, как вы понимаете, незачем. Дело в другом. И не в вашем личном обаянии, хотя оно незаурядно. Поверьте.

Так вот. Вы человек с искренними убеждениями. И придерживаетесь своих убеждений даже вопреки материальной выгоде, карьере, известности. Именно так, не надо возражать! Вы получаете предложения от университетов – и отклоняете их. А это как-никак профессорский оклад и перспективы для научной работы. Издательство на должность, которую предоставляло вам, берет человека менее подходящего, а платит ему вдвое больше, чем получаете вы. Что же вас останавливает? Не стесняйтесь, голубчик, люди, как известно, вечно стыдятся вовсе не того, чего следовало бы.

Я сам отвечу вам. В нашем достаточно бессмысленном мире вы занимались, простите, занимаетесь одним из немногих дел, имеющих смысл: вы учите детей. Причем не абстрактной математике – литературе. Вы воспитывали из них, по мере своих сил, людей – в подлинном смысле этого слова. Вы учили их внутренней честности и порядочности, учили понимать и чувствовать прекрасное, быть терпимыми, мыслить самостоятельно и поступать благородно – пусть даже в ущерб материальной выгоде и карьере...

А сами, отклоняя предложения и приглашения, рассуждали примерно так: «Материально я выиграю немного. Того, что я имею, мне хватает. Как-то сложится все на новом месте? Я

иду утром на работу без отвращения. Какого еще черта человеку надо?». Вы, голубчик, как всякий закоренелый идеалист, считали себя последовательным реалистом. Идеалист, заметьте, в хорошем, в высоком смысле слова.

Таких людей весьма, голубчик, и весьма мало. И мы таких ценим на вес золота. «Мы» – я подразумеваю государственный аппарат. Ибо именно такие люди, вкладывающие душу в свое дело, не просто добросовестные и способные, нет, талантливые и преданные своему делу, жизненно необходимому стране и народу, я говорю – не государству, заметьте, государство – аппарат, пшик, каркас для скульптуры, корабль для команды, – такие люди служат тем же целям, которым служит или, во всяком случае, обязано служить государство – оставим высокие слова нашим ораторам, – служить тому, чтоб люди были людьми и жили по-человечески. *(Допивает бокал, ставит, вздыхает, машет рукой и закуривает еще сигарету.)*

Дорогой мой, единственная задача государства – чтобы люди жили по-человечески. Но чего это стоит, боже мой, чего же это стоит!.. Вы помните, что творилось еще десять лет назад? Безработица, бандитизм, нищета!.. Наркоманы, экстремисты, забастовки, демонстрации – отчаявшиеся люди требуют того, на что имеют право по одному уже рождению! У кого? У так называемых «правителей»... А что могут эти «правители»? Ну что они могут, я вас спрашиваю? Рабочих мест не хватает, энергии не хватает, сырья не хватает, валюты не хватает, квартир и больниц не хватает, и все увязано одно с другим! не пошевелить... Ну, какой вы, вот вы можете предложить выход? А? Да не бойтесь вы, господа, говорите, это откровенный разговор, вам ничего не грозит. Ну что: социальные перемены, революция, национализация, обобществление?

Тримушки-Трай *(нерешительно)*. Допустим...

Чиновник. Допускаю! Хорошо! Первое: все собственники, владельцы средств производства автоматически становятся в ряды безработных. Чудно! Анархия в производстве, это второе. Резкий экономический кризис – три. Четыре – недовольны не только экспроприированные, но и потребители их продукта – продукт на время исчезает, а потребляют все. Подходит? Нет. Оставить их на местах с правами наемных менеджеров? Но что это даст? Деньги все равно в банках, недвижимость все равно в государстве. А угроза гражданской войны? А забастовки всех, *всех* частных предпринимателей? Военное положение, газовые гранаты, национальная гвардия – в ход, что ли? Зачем? чтоб вернуться к разбитому корыту? Нет, голубчик, экономист вы слабый. Ну, следующий способ?

Тримушки-Трай. Гм... Меньше потреблять... отказаться от ненужного в быту. Высвободится энергия, сырье, средства.

Чиновник. Прежде всего высвободятся рабочие руки, и государству придется кормить еще мириады безработных и их семьи. Резко нарушится оборот средств – люди будут меньше покупать. Вы призываете фактически к удешевлению рабочей силы – это антиисторично и антинаучно, я не говорю уж о гуманистическом аспекте. За тот же труд люди будут иметь меньше благ – это забастовки. Мы не получим высвобожденных средств на подъем экономики – мы прежде всего потеряем мощности и средства, разрушим государственный бюджет, не сведем концов с концами. Нет?

Тримушки-Трай. А временно... равномерно уменьшить производительность труда?

Чиновник *(ласково и устало, словно ребенку)*. Ну, сможем занять всех. Что имеем – поделим на всех. А чего не имеем – откуда возьмем? А нехватку во всем – ее тоже на всех поделим? Экономика-то тютю у нас... И подъема ее так не достичь никогда – наоборот, угробим навеки. Стать луддитами ратуете, что ли?.. Полная наивность...

Тримушки-Трай *(отрекаясь от своих проектов)*. Да. Разумеется. Государство сделало колоссальное дело. Мне не надо это доказывать. Я голосую на выборах.

Чиновник. Доказывать, к прискорбию, приходится даже неоспоримые истины. Да – государство сделало. Мы сделали. Я вот, скромный, как говорится, винтик машины, вылечу

завтра с инфарктом – через час заменят, но я говорю – мы. И – мы с вами, лично с вами – вместе.

Кстати – вы не могли не отметить, что ученики ваших последних лет толковее предыдущих, а?

Тримушки-Трай. Д-да... У меня есть такое... не впечатление, нет, они действительно более развиты и интеллектуальны.

Чиновник. Бесспорно. И все, или почти все они должны бы получить высшее образование и работать мозгами, а?

Тримушки-Трай. Я думаю так же.

Чиновник. Будьте уверены, так и произойдет. Они достойные ребята, и государство о них позаботится. *(Понижая голос.)* И вы тоже, сами, лично вы тоже должны о них позаботиться.

Тримушки-Трай *(понимая, что встреча подходит к тому, ради чего затеяна).* Я думаю так же.

Чиновник *(прикасаясь к его руке, сердечно).* Вы не могли ответить иначе. Поэтому мы и пригласили именно вас. Вас!..

Тримушки-Трай. Я должен что-либо делать?

Чиновник. Только то, что велит вам ваша совесть. А ваша совесть не может не велеть вам приносить максимальную пользу людям.

Тримушки-Трай. Как бы... Разумеется...

Чиновник. Открою вам секрет. Первый из секретов, который я вам открою. Да не пугайтесь, голубчик, неужели вы думаете, что я вас в стукачи вербую!.. Полноте.

Так вот. Мы несколько расторопнее и, смею надеяться, разумнее вашего Департамента обучения. Потому что уже год применяем ваши тесты. И при полном уважении к вам как к филологу и преподавателю сочту долгом присовокупить, что ваши способности психолога много и ценнее, и качественнее... я не нахожу подходящих слов, грубо льстить не хочу... но мы, как естественно предположить, используем сливки мировых достижений.

Тримушки-Трай. Я должен буду уйти из школы?

Чиновник. Повторяю, вы должны будете делать только то, что повелит вам ваша совесть. Но мы были бы счастливы, – открываю карты сразу, – мы очень заинтересованы заполучить вас к себе. Транспорт и коттедж государственный, все льготы сотрудника нашего департамента, пенсионный возраст на пять лет ниже общего. Оклад – двадцать пять двести в год; четверть президентского и вдвое выше среднего. Дело – психология. Разработка, проверка и внедрение тестовых систем для социальной и профессиональной дифференциации. Будучи сам по образованию социологом, искренне заверяю, на основании полного комплекса данных вашей собственной биографии, что вы именно тот человек, какие нам крайне, подчеркиваю – крайне, видите, я ничего не скрываю от вас, – требуются.

Тримушки-Трай. Когда ответ?

Чиновник. Не торопитесь. Обдумайте спокойно. *(Снова наполняет бокалы.)* Вы ведь согласны, что долг каждого – максимально использовать свои способности на благо своего народа и всего человечества?

Тримушки-Трай. Безусловно.

Чиновник. Значит, в принципе вы уже согласны. О нет, я на вас не давлю, упаси бог! Еще один момент: а как быть с преступником, которого невозможно перевоспитать? садистом? Ваше мнение?

Тримушки-Трай *(с непониманием).* Изолировать?..

Чиновник. И пусть порядочные люди его кормят, одевают, сторожат?

Тримушки-Трай. Он должен трудиться. Принудительно.

Чиновник. Обречь на рабство?

Тримушки-Трай. Воспитание личности созидательным трудом...

Чиновник. Ага. Закатать лет на сорок каторги – и покойник осознает ошибки. Нет, вы определенно большой гуманист.

Тримушки-Трай. Я не совсем понимаю... Но смертная казнь у нас запрещена законом...

Чиновник. Вы соображаете: куда я гну? Хорошо. Еще вопрос: вы согласны, что назначение человека – не есть, пить, гадить, спать, развлекаться, а в первую очередь – оставить свой созидательный след на земле?

Тримушки-Трай. Разумеется...

Чиновник. Не осудите, что с вами, образованным и талантливым человеком, я разговариваю прописными истинами. Они, знаете, так привычны, что по привычке опускаются, исчезают при рассуждениях.

Продолжаю: следовательно, долг каждого человека и гражданина не только созидать самому, но и всячески способствовать, чтоб так же жили другие, все?

Тримушки-Трай. Так.

Чиновник. Так. Именно так. И если наркоман, сексуальный маньяк, киллер мафии, подонок потенциально способен построить прекрасное здание, или насадить благоухающий сад, или проложить дорогу через пустыню, – то наш долг реализовать эти его возможности на благо ему и нам?

Тримушки-Трай. Ну. Так. Конечно.

Чиновник. Конечно. Вы слышали о теории Кайми-Отта?

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник. А о Ван-Гоге, Шелли, Галуа вы слышали? Не обижайтесь... А знаете пословицу: «Избранники богов умирают рано»? Задумывались, конечно, – филолог – о тридцати годах, и тридцати шести-семи, и сорока – сорока двух? Масса примеров, да?

Ах, голубчик, все в слова играем. Человек приходит, чтобы уйти, и чем больше оставляет, тем меньше остается его собственного материального существования.

Легенды не лгут, голубчик. Сущность теории Кайми-Отта к тому и сводится. Я имею в виду легенды и сказки о превращениях. Дракон в принца и наоборот, глина в человека и наоборот... и важно тут, заметьте, *не заколдовать, а расколдовать*. В этом отличие злых волшебников от добрых. Из уродливой оболочки извлечь прекрасную истинную сущность. Уродливо же то, что не соответствует тысячелетиями сложившимся представлениям о добре, пользе, красоте, справедливости. Разве не гуманно превратить уродливого садиста в то, чем он был предназначен стать на земле: в цветущий сад?

Тримушки-Трай (*поддаваясь его тону*). Да, да... если бы это было возможно...

Чиновник. И важно не ошибиться. Как важно не ошибиться, вы понимаете! Не использовать государственную печать для колки орехов. Не пускать броневую сталь на кастрюли, красное дерево на туалетную бумагу!

Тримушки-Трай. Да, да...

Чиновник. Вот в этом и будет заключаться ваша задача. Гуманнейшая, я бы сказал, задача.

Тримушки-Трай (*с недоумением, еще исключаящим догадку; как проснувшийся человек*). Что?

Чиновник. Мы говорили с вами о кризисе, который пережила страна. О практической невозможности преодолеть его обычными средствами. О назначении человека. И обнаружили единство взглядов, не так ли?

Тримушки-Трай. Т-так...

Чиновник. Даже в экстазе наслаждения мы сокращаем наш век и приближаемся к смерти. Нельзя одновременно получать удовольствие от вкуса пирожка и его вида. Это я к

тому, что (*резко перегнувшись через стол, глядя в глаза, жестко*) население наше несколько уменьшилось, вы обратили внимание, не правда ли?

Тримушки-Трай (*как бы в гипнотическом внушении машинально кивает*). Д-да... (*С выражением появляющегося ужаса.*) И... что же?..

Чиновник. Полноте, голубчик. Я с вами совершенно откровенен. Не притворяйтесь же и вы таким непонятливым. В сущности, раз уж вы побаиваетесь и стесняетесь себя самого, открою вам: не так уж это вас и волнует.

Тримушки-Трай. Вы хотите...

Чиновник. Помилуйте. Избавьте меня от формулы: «Вы хотите сказать этим, что... Боже мой! Этого не может быть!..» Будьте честнее. Интеллигент не должен быть фарисеем.

Тримушки-Трай. Я слушаю вас...

Чиновник (*наполняет его бокал коньяком, на сей раз не разбавляя*). Выпейте! Да! Мы – мы! – взяли на себя тягчайший груз ответственности! На себя! (*Нервно, с болью.*) Чтоб спасти всех... Достойных... Чтоб вы не подошли на помойке, а ваши ученики не выросли скотами. А ваши дети появились на свет... (*Закуривает. Доверительно.*) Наш отдел самый вредный из всех. Нервов, нервов... А платят столько же.

И перестаньте, я вас умоляю, делать лицо Христа, которому предлагают за три десятки избавиться в профилактических целях от Иуды. Вам это не идет.

Тримушки-Трай. Вы поймете меня... и извините... я отказываюсь.

Чиновник. И прежде чем петух пропоет, трижды... Слушайте, я перестану вас уважать, честное слово. Ну давайте рассудим трезво:

Первое. Подавляющее большинство людей у нас счастливо. Работа по душе, достаток, покой.

Второе. Счастливы не баловни судьбы, не жизнедеятельные приспособленцы, а – лучшие головы, порядочные, терпимые к ближним.

Третье. Преступности нет. То есть порядочные люди не рискуют погибнуть ни за понюх табаку, а другие порядочные люди не тратят жизнь на борьбу с мерзавцами.

Четвертое. Перенаселенности нет – даже вас никто не толкает на вашем тротуаре, верно?

Пятое. Сырьевой кризис, энергетический, нехватка средств на медицину, обучение – все это ликвидировано; царит экономическое процветание.

Шестое. Никчемные люди, отбросы породы гомо сапиенс, недостойные вообще дышать – воплотились непосредственно в материальные ценности. Без пота, заметьте, без унижений, без жестокостей и страданий – гарантирую вам. Да это честь для них!

Чего же вы еще можете желать?

Тримушки-Трай. Фашизм!..

Чиновник. Не низводите себя до обывателя. Эта мания – наклеить ярлык и успокоиться...

Тримушки-Трай. Кто осмелится присвоить право!..

Чиновник (*саркастически, быстро*). Право спасти вас, заблудших баранов? А кто дал вам право получать свою капусту?

Тримушки-Трай. Люди, их судьбы...

Чиновник (*поспешно перебивает*). Типичная ошибка, порочное заблуждение. Кто поведал вам, что такое – люди? Правомерно ли упорствовать в ереси, что мерзкий, преступный, жалкий, отталкивающий, гадкий человек – это истинная сущность материи, а хрустальный купол здания – не истинная? Вы ошибаетесь, и ошибаетесь наивно, Тримушки-Трай. Человек, ставший паровым катком, всегда был паровым катком. *Всегда*. Мы лишь возвращаем ему его истинную сущность. Понимаете?

Ну, какой упрек еще вы мне предъявите? Справедливость?

Тримушки-Трай. Справедливость.

Чиновник. А справедливо ли, что гений живет в дерьме и очень недолго, самым коротким и прямым из известных ему способов превращая себя в шедевры, коими наслаждаются сытые?

Тримушки-Трай. Это его – высшая! – форма существования.

Чиновник. А мы даем такую – высшую! – форму существования – каждому! Почему вы хотите лишить их удела избранных? Вы не впадаете в элитарность, а, демократ?..

Тримушки-Трай. Гений избирает сам!

Чиновник. А мы помогаем слабому! Он служит людям – на века: вот высший смысл. А от нас с вами останется пшик. Так что его удел даже и выше.

Тримушки-Трай. Я отказываюсь.

Чиновник. По вашей вине человек, предназначенный природой стать белоснежной надстройкой лайнера, может превратиться в зеркало для бара. Ведь ваша задача, господин учитель, – определять, кто чего стоит.

Кроме того – подумайте о собственном назначении. О полной реализации всех заложенных в вас возможностей. Ведь чем полнее напрягает человек все свои способности – тем в большей степени он именно живет, а не прозябает. Стремление к самоутверждению, жажда самореализации, долг перед обществом велят нам жить в максимальном напряжении сил, делать самое большее, на что мы годимся.

Тримушки-Трай. Мне неловко вас задерживать и утомлять, но я отказываюсь.

Чиновник (*с презрительно-насмешливыми нотками*). А вы не знаете, отчего не задумывались раньше, куда деваются люди и откуда берется все? Может, у нас завелся гаммельнский крысолов, а вместо дудочки у него рог изобилия, мм?.. Да, у нас институты слухов, отвлекающая информация, контроль утечек, *выборка* по кустам с учетом сфер связей и знакомств, но ведь имеющий глаза да разует их, коллега! *Вам было плевать на всех!* Вы общались с семьей и коллегами по школе – это один слой, нужный, мы здесь не трогали, – прочие вас не волновали. А вы не допускаете, что в глубине души подозревали нечто подобное, мм? Но ваше сознание не желало дискомфорта, и эта скверная мысль туда просто не допускалась: так швейцар отгоняет от дверей ресторана шокирующего вида бродягу.

Оставьте же хоть сейчас лицемерие. Отдайте себе отчет в том, что ваш услужливый и изощренный интеллигентский разум подает наверх именно то, что требуется психоморально-интеллектуальной структуре вашей личности для нормального функционирования. Станьте честны! И сумейте сохранить верность себе, увидев все вещи в их нагой сути, не зависящей от вашего эгоистичного стремления сохранить добродетель в собственных глазах. Вот тогда я, может быть, стану уважать вас по-настоящему.

Тримушки-Трай. Всю жизнь я учил детей честности и добру...

Чиновник (*перебивает*). Кстати, не забудьте о собственных детях. Где гарантия, что они станут интеллектуалами? А для своих всегда случаются послабления, все на свете, знаете, люди...

Тримушки-Трай. Кто знает, пока они вырастут... И потом, они у меня умные ребята... Нет.

Чиновник (*вытягивает из нагрудного кармана своего клетчатого пиджака свежий белый платочек и с некоторой аффектацией вытирает лоб. Лоб бледный, как и все лицо, в частых мелких морщинках*). Вы меня утомили.

Тримушки-Трай (*тоже вытирается. Ворот его голубой сорочки промок*). Боюсь, что мы не договоримся.

Чиновник. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Будьте мужчиной. Потому что, судя по вашему тупому упорству, через час вы выедете из ворот малоприметного здания в трех кварталах отсюда в виде чего-нибудь вроде дюжины унитазов. Сомневаюсь, чтобы вы, как истый яйцеголовый, годились на что-либо лучшее.

Пауза. Видно, что Тримушки-Трай взвешивает все в последний раз. Выглядит он явно измученным. Судя по выражению лица, он уже в значительной мере утратил способность сообщать. Принимает вид совершенно отрешенный.

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник (*извиняющимся тоном*). Разумеется, вы понимаете, что лично я испытываю к вам, к вашей стойкости только симпатию – при всем моем сожалении о вашей непонятливости, – но и при вашей непонятливости вы понимаете, что мы не можем, не должны, не имеем морального права выпустить вас с той информацией, которую вы получили.

Тримушки-Трай. Пусть... Другие и так поймут, в конце концов.

Чиновник. Вы не иначе как считаете, что здесь дураки собрались, коллега. Нет – не поймут. Тем, кто поймет, мы предложим работать с нами. Одни начнут работать с нами, другие – на нас, с позволения выразиться. Помимо этого, мы уже ввели психологический отбор – убеждаетесь на себе; тесты ваши небезынтересны, но без вас лично мы благополучно управимся; к тому же завершается программа исследований по введению отбора генетического. Далее – мы уже почти привели уровень населения к оптимуму, а при дальнейшем наращивании экономики и вообще, вполне вероятно, отойдем от современного метода. Временные, так сказать, и экстренные меры.

Ладно. (*Дружески подмигивая.*) Помогу вам завершить эту маленькую сделку с вашей маленькой нездоровой совестью. Знаете, что делает разумный человек, если совесть у него захромала? Покупает ей костыль, голубчик. Хотя вы и так уже, в сущности, согласны, но – стесняетесь. Будь по-вашему. Ультима рацио.

Кряхтя, открывает в панели рядом с баром экран телевизора. Включает. Появляется изображение жены Тримушки-Трая, кормящей детей: двухлетний сын увертывается от ложки с кашей, дочка смотрит осуждающе.

Еще Цезарь поучал – води дело с людьми семейными, они покладисты. Обязан ли я пояснять, что унитазов получится не одна дюжина, а четыре? или три с мелочью – это вне моей компетенции. Тихо! Тихо! Ну?! Работаете? Да – нет, времени не даю. Все! Нет?

Тримушки-Трай. Да.

Чиновник. Без десяти двенадцать. Мы с вами хорошо управились. На десять минут прежде срока. Выпейте еще, коллега, не переживайте – коньяк казенный. А работа вам понравится, я уверен. Возможности у нас неограниченные. База, аппаратура – это ж сказка. Мечта любого ученого.

Что же до ваших переживаний – голубчик, с непривычки новое дело часто слегка пугает. Пустое. Привыкнете, увлечетесь. Везде своя специфика. Люди переходят в вещи, дела – это же закон природы. Учитывая законы, помогать им, направлять, использовать, – естественное дело и право человека.

Кстати, а кто были те двое, вы знаете? Не догадались? Нет? М-да... А я знаю. И они, я думаю, тоже все знают... Такая работа.

Возвращается за свой огромный полированный стол, садится спиной к окну, так что против света виден только его силуэт на фоне ярко голубеющего неба – утро было хмурое, а сейчас распогодилось. Щелкает тумблером селектора.

Дежурный? Четыреста седьмая. Двое за мной. Результаты?

Селектор. Документов нет. По редакциям не значатся. По центральному справочному не значатся. По дактилоскопии не значатся. Допрос неадекватен. Дан запрос на психиатрическую экспертизу.

Чиновник (*тихо и даже с некоторой грустью*). Запрос отменить. Акт по форме двадцать девять. Текущим транспортом в утилизацию. Накладную к отчетности. Рапорт в общем порядке.

Селектор. Есть. (*Щелкнув, отключается.*)

Чиновник. Вот такие пирожки, голубчик. Ну, давайте ваш пропуск, поставлю печать. Топайте себе домой, успокойте жену. Трейлер придет в среду, в девять утра. Переберетесь в наш городок – это пятнадцать миль от города, побережье, закрытая зона – рай. Четыре дня на устройство, в понедельник в восемь пятьдесят звоните по тому же телефону.

Порадую напоследок: вероятно, в будущем вам предстоит работать над интереснейшей и благороднейшей задачей, которая должна прийтись вашей филологической душе вполне по вкусу. Поскольку ряд авторитетов считает в принципе малогуманным сокращать срок существования материи в форме гомо сапиенс, наделенной сознанием гомо сапиенс, то в перспективе перед нами вырисовывается задача обеспечить этому сознанию полнометражную, так сказать, жизнь, независимо от реального времени. Пусть себе субъективно проживут за пять минут транспортировки хоть Мафусаилов век и семь сундуков приключений. А время – хм... ученые так и не выяснили, что это такое... кто знает... Для самих-то себя они явятся полноценными долгожителями, так что им грех жаловаться. Поскольку реальность дана нам в наших ощущениях, верно? мм? – или вы не придерживаетесь этого тезиса? – то для них реальность будет поистине восхитительна. Ну, разве не благородная задача?

Тримушки-Трай (*забирает отмеченный пропуск, направляется к дверям, уже у порога задумывается на секунду и, обернувшись, спрашивает с мстительным интересом*). Послушайте, коллега, а вы не думаете, что эта задача уже решена?

Чиновник (*с искренним профессиональным интересом, но недоверчиво и слегка не понимая*). То есть?

Тримушки-Трай. Что реально-то мы с вами находимся сейчас уже в транспортировке, превращаемся в унитазы и хрустальные здания? А это – так... гипноз... наше субъективное представление.

Чиновник (*раздраженно*). В свободное время я с удовольствием побеседую с вами о Шопенгауэре и прочем. В садике, вечером. За коктейлем.

Тримушки-Трай. А все же?

Чиновник. К сожалению, мы не располагаем более временем. Работа есть работа. Честь имею кланяться.

Долги

1

Чем крепче нервы, тем ближе цель. С этим изречением я познакомился в девятнадцать лет: прочитал татуировку на плече. Плечо смотрелось: мускулистое под жестким загаром, оно как бы подкрепляло смысл надписи. И соответствующее лицо мужчины. Что слова эти из песенки американских матросов времен второй мировой войны, я узнал гораздо позднее.

У меня нервы скверные. Как у многих. Я долго запрягаю и медленно езжу, виляя по сторонам. Близость цели возбуждает меня сверх меры, перехлестывающий энтузиазм мешается со страхом упустить, и как следствие – паническая суета, затрудняющая дело. Мысленно я всего уже десять раз достиг и столько же раз потерял. И добившись наконец давно желаемого, я испытываю обычно только усталость и легкое разочарование, что ну вот и все.

Так было и сейчас – но и не совсем так. У меня вышла вторая книга. Не шедевр, греза начинающего, однако и не такая плохая книга, честное слово. На уровне. Телевидение поставило мой сценарий и заключило договор на другой. Тоже – не Штирлиц, но многим вполне понравилось. Я стал профессионалом.

Занятое мной положение не давало исчезнуть отраде, знакомой на моем месте любому. Удовлетворение лишь подстегивалось некоторыми отзывами вроде «талантливо начинал», «на халтуру разменивается», – подобные высказывания, как правило, исходят от людей, добившихся меньшего, чем ты, и продиктованы, вероятнее всего, завистью. А зависть, по формулировке Скрябина, есть признание себя побежденным... Я – оцениваю свои возможности реально; а профессионализм есть профессионализм: неумно тщиться гением в тридцать семь лет.

И вот в свои тридцать семь я получил возможность «остановиться, оглянуться», – право на передышку. Годы подряд я, без преувеличения, работал много и напряженно. Я писал и переписывал бесконечно, я предлагал десятки вариантов и вносил тысячи поправок. Кто сомневается, как трудно составить себе какое-то литературное имя, пусть попробует сам.

Теперь я обладал солидной суммой. Деньги гарантировали свободу во времени. Я погасил задолженность за свой однокомнатный кооператив. Раздал долги. И полтора месяца предавался сладостному ничегонеделанию.

Я просыпался в полдень, наливал из термоса кофе и читал в постели детективы. Бродил днем по музеям и просто по зимнему городу, едва ли не впервые воспринимая его красоту и красоту вообще всего кругом. Высшее, самое тонкое и полное наслаждение всем сущим доступно, наверное, одним бездельникам.

Характер мой выровнялся, исчезла раздражительность: я посвежел. Я наслаждался жизнью; с повторяемостью наслаждение требует дополнительной остроты: я мог позволить себе роскошь ничемных дел.

2

Большинство неактуальных вещей, которые мы откладываем, мы откладываем навсегда. Это можно считать слабостью характера; или давлением обстоятельств. Можно считать иначе: что не сделано, то не очень-то и нужно. И все же невыполненные намерения, неудовлетворенные желания, по мере времени теряя свою конкретность, превращаются в некий неопределенный груз, тяготеющий на душе. Ощущаешь какую-то незавершенность, неполноценность соб-

ственной личности и судьбы. А когда возраст переходит период надежд и откладывать уже некуда, эпизодическое отчаяние по поводу проходящих дней сменяется спокойным сознанием несостоятельности.

Ну, сознанием своей несостоятельности я, положим, не страдал. Главное-то я выполнил. А махнуть рукой на многое вынужден в жизненном движении каждый. Но тихо-тихо подтачивающий червячок, скрытый повседневностью, в моем комфортном состоянии сделался различимым.

У меня хорошая память на добро. Правда, не хвастаюсь. Вот ответить на него – это, по совести, несколько другое... Нужны деньги, или время, или то и другое, – а усилия направляешь на главное; все грешны...

Всегда перед появлением денег я решал рассчитаться по застаревшим долгам. Появившись, деньги с абсолютной неотвратимостью тратились на что угодно, долги же продолжали существовать; обычное дело.

В утешение я вспоминал байку, когда один меценат вещал о гордости человека слова, отдающего в срок, и как Маяковский отрубил, что присутствующим литераторам есть чем гордиться кроме отдачи долгов. Я не Маяковский, утешение действовало весьма частично.

Мне даже представляется, я знаю, с чего у меня возникла эта внутренняя потребность не быть должным.

3

Во втором классе я проспорил Ленке Чашкину рубль. Споря, я поступал здраво и практически, прямо неловко становилось – запросто, задаром получить Ленкин рубль. Затрудняюсь изложить сомнительной приличности предмет спора. Ленка поплеывая поправ мораль, проявив известную мальчишескую доблесть. За поправление морали платить оказался обязан я. Рубль представлялся мне платой чрезмерной. У меня не было рубля.

Как все герои, Ленка был великодушен и забывчив. Через несколько дней вопрос о рубле, к моему облегчению, заглох. Радостью я поделился с отцом.

К моему разочарованию, поддержки в нем я не обнаружил. Отец преподнес мне те истины, что, во-первых, спорить вообще нехорошо, во-вторых, спорить на деньги особенно нехорошо, в-третьих, спорить на то, что не тобой заработано – вовсе плохо, но не отдавать проспоренное – не годится уже совершенно никуда. И выдал рубль.

Я вручил Ленке рубль. Он принял его, быстро скрыв уважительное удивление, с превосходством насмешки над неудачником и вдобавок дураком. Я ожидал иной реакции. Я слегка обиделся.

Но жить стало легче: исчезла опасность напоминаний, осталось сознание правильности поступка.

4

Первый перекося мое представление о необходимости отдавать долги получило на собрании абитуриентов, где Надька Литвинова одолжила у меня рубль до завтра, и это светлое завтра еще не наступило. У нее ни в коем случае руки не были устроены к себе, раздавая пять лет как староста группы стипендии она вечно себя обсчитывала, кому-то давая больше – и ей не всегда возвращали: легкая натура, не придавала она значения рублю. Рублю я тоже не придавал, а факт – ну засел, что ты поделаешь. Первый раз памятный.

Позднее я помню всего четыре случая, когда мне не возвращали. Черт его знает, не верится, чтобы всего четыре. Я задолжал куда больше, ого. Хороший я такой, что не помню, или скотина, что мне отдавали, а я нет – затрудняюсь определенно сказать.

Как я впервые не отдал – тоже помню отлично. В сентябре, в начале второго курса, собирались мы на какую-то пьянку. (Написал «пьянка» и споткнулся – предложат ведь заменить «вечеринкой», «днем рождения». И пусть слово цензурное, общелитературное, всеми употребляемое... А, – я сам раньше заменяю...) Да, и мне срочно требовались два рубля, причем не на вино, а на цветы. Кому цветы, зачем – позабылось, но точно на цветы. И занял я у Машки Юнгмейстер, и у Машки дочка кончает школу, и Машка наверняка ни сном ни духом про эти два рубля не ведает – а у меня память. Сколько раз я хотел отдать. Или цветов ей принести. Или конфет. Фиг. Не до того.

5

Мы все собираемся когда-нибудь раздать все долги.

И наступает время. Или так и не наступает.

Господи, деньги у меня есть – больше нужного, машина, дача и лайковое пальто мне ни к чему, родные обеспечены, алименты платить не на кого, ресторанов я не переносу, пить избегаю, нынешние мои знакомые сами в достатке, а я столько в жизни добра от людей видел, клянусь, иногда злобишься: «Стану сволочью – насколько легче заживется», – да оттаиваешь при касании участия человеческого...

Привлекает и благородная праведность – разбогатеет, воздать за добро сторицей. Ну, сторицей – не шибко-то и получится, – но воздать. Желательно с лихвой.

«Понял?» – сказал я червячку, шевелящемуся в безмятежном довольстве моей души. И червячок явственно пообещал превратиться в благоухающую розу, лучшее украшение этой самой моей души.

6

По порядку – первый долг следовал Машке. Я запасся бутылкой сухого, тортом, купил букет белых цветов, названия которых и поныне не знаю – они одни зимой и продаются у нас, кажется хризантемы, – и отправился. Адрес еще уточнил в госправке.

Перед дверью постоял. Покурил.

Машка сама открыла. Толстая, нездоровая на вид. Секунду смотрела, узнавая.

– Ой, Тишка! – и повисла у меня на шее. – Тыщу лет!

Я видел ее как бы раздвоенно, не в фокусе, – глазами и памятью, и было чуть больно и печально, пока изображения не совместились и она не стала прежней Машкой, какую я всегда знал.

– С цветами! С бутылкой! Ну же ты лапуня!..

– Машка, – сказал я, – за мной должок.

Она отодвинулась взглядом.

Я вынул два рубля и подал:

– Восемнадцать с половиной лет. Вот – взбрело в голову...

– Ты что, спятил? – осведомилась Машка с собранным лицом. Она, похоже, заподозрила, что я решил расплеваться и демонстрирую жест.

– Спокойно, – успокоил я. – Просто я, понимаешь, немножко разбогател, и вдобавок мне нечего делать; и вдруг как-то припомнилось...

Она с исчезающей опаской послушалась, взяла:

– И черт с тобой, – удивилась она. – Раньше я за тобой ненормальностей не замечала. Да раздевайся, чего встал. Или только за этим приехал?

– Обижает, мать, – облегченно поспешил я. – Накормишь?

– Другой разговор. Цветы. Ну обалдеть! Спасибо, – чмокнула меня и впервые удалилась из захлавленной прихожей: – Вова! Кто к нам пришел!

Вовку Колесника, ее мужа, я знал со студенческих времен. Изменился он мало; приветствуя, мы друг друга похлопали.

Продолжалось обыденно: ну, пришел в гости... быстрое хлопотание, стол, рюмки, цветы в вазе. Представили свою шестнадцатилетнюю дочку, довольно милую, попутно упрекнув ее в слабовыраженности интересов. Сели вчетвером. Машка сияла.

– Где работаешь-то?

– Пишу, – сказал я; не то чтобы я надеялся, что они меня читали...

– Да? Где тебя печатали?

– Ерунда, – небрежно махнул я рукой. – Так, печатаюсь. Телефильм тут недавно, «Зимний отпуск», не смотрели?

– Нет. А что, ты ставил?

– Не совсем, – сценарий мой.

– Так молодец!... – стали радоваться они. – Его по второй программе еще будут показывать? знали бы... чего ты не предупредил-то.

Вовка преподавал в институте, Машка по-прежнему торчала в библиотеке; разговор пошел о делах... Когда-то Машка здорово играла на гитаре. И пела. И могла в стройотряде матом поднять на работу бригаду ребят.

– ...Гитара-то в доме есть, Машка? – спросил я.

– С ума сошел, – отреклась она, – десять лет в руках не держу.

– Возьми-и, – в голос заканючили Вовка и дочь Света.

После сухого Вовка твердо выдержал супругин взгляд и достал водку. Постепенно все стало хорошо, по-свойски, без нарочитости и напряжения, Машка без повторных просьб сама принесла гитару и пела те, старые песни, и было приятно еще от того, как смотрела на меня – писателя – юная дочка. Отпустили меня только в половине первого, – поспеть на метро. Мне неловко было говорить, что поеду я все равно на такси. Да и – им-то завтра на работу.

Засыпал я с удовлетворением. Первый пункт намеченной программы был выполнен толково.

7

Со вторым долгом обстояло сложнее.

На третьем курсе я одолжил у дяди Валентина червонец.

Зимним вечером мы с ребятами в общежитии тосковали: изыскание ресурсов окончилось безнадежно. Я плюнул, оделся и пошел к дяде, благо жил он через два дома. Надо заметить, время перевалило за десять, а стопы в его дом я направлял второй раз в жизни.

Долго звонил, вознамерившись не отступать (они рано ложились). Дверь открылась неожиданно – дядя в ночной старомодной рубашке до пят холодно смотрел.

Я шагнул, набрал воздуха и принялся сбивчиво врать про замечательный свитер, продающийся срочно и безумно дешево, так необходимый мне в эту холодную зиму, – и не хватает всего восьми рублей. Не дослушав, дядя вышел, вернулся с десяткой, улыбнулся, потрепал меня по плечу, пресек приличествующие расспросы о жизни и здоровье и дружелюбно подтолкнул к выходу.

Червонец был пропит через полчаса.

Глубокую симпатию к дядиному стилю общения я храню.

Дядя умер через несколько лет.

Я купил шоколадный набор за шестнадцать рублей (дороже не нашел) и поехал к тете, его вдове, которую не видел десять лет.

Тетя стала суровой и даже величественной старухой.

– Никак Тихон, – сощурилась она. – Заходи. Никак в гости сподобился. Порадовал. А я думала, уж только на моих похоронах встретимся. В тебе крепки родственные связи.

Я был препровожден в комнату, картиночно чистую, словно вещи век хранили раз навсегда определенное положение. Последовали наливка и типично родственный разговор, который легко представит каждый... Я не мог решиться. Конфеты лежали в портфеле.

Но незаметно переключились на дядю: его доброта, таланты... и я в самых благодарственных тонах прочувственно изложил ту давнюю историю. Тетка выслушала спокойно, тихо усмехнулась. И коробку конфет приняла как безусловно должное и приличествующее.

– Тетя Рая, – приступил я тогда. – Все собираемся, собираемся... Поймите правильно. Свербит у меня... Ерунда, – но... Поймите, мне просто очень хочется, возьмите у меня, пожалуйста, этот червонец.

– Что ж, – она кивнула согласно. – Давай.

Мы распрощались друзьями. Я чувствовал, что следующее свидание теперь произойдет раньше ее похорон. Хотя уже в подъезде понял, что вряд ли...

Чуть-чуть – чуть-чуть продолжало свербить...

С десятирублевым букетом я поехал на кладбище.

Там березы гасли в пепельном небе, тени затягивали слабо расчищенные в снегу дорожки. Я долго искал дядину могилу. Найдя, снял шапку, опустил цветы на сумеречный снег.

– Такие дела, дядя, – сказал я. Закурил и надел шапку – холодно было. Постоял, подумал... – Может, не такое уж я животное, хоть и не общаюсь с родственниками. Дела, знаешь. Да и о чем разговаривать-то при встречах. А по обязанности – кому это нужно, верно?.. Но я помню все. Хороший ты был мужик. Ей-богу, хороший. Пускай тебе воздастся на том свете и за червонец тот, если таковой свет имеется. А я – вот он я...

То ли вечерний воздух кладбищенский, стоячий и чистый, так действовал, пахнувший зимним простором, то ли само пребывание в месте подобном, то ли просто собой я доволен был, – но уходил я с умиротворением.

На ночь я перечитал «Мост короля Людовика Святого». Когда-то я тоже хотел написать такую книгу.

8

«8 р. – Тамаре Ковязиной. (Нечем было срочно заплатить за телефон.)

«12.50 – Васке Синюкову. (Моя доля за диван, подаренный на свадьбу Витьке Гулину.)

«4 р. – Виталику Мознаиму. (За что?..)

«7 р. – Егору Карманову. (Не хватило на билет из Сыктывкара. И обещал прислать блесны и леску.)

«3 р. – Володе Зиме. (Пивбар.)

«11 р. – Б. Кожевникову. (Покер.)

«10 р. – Томке Смирновой. (Новый год.)

«40 р. – Витьке Андрееву. (Снятая комната, два месяца.)

«8 р. – Дмитриевым. (Шарф.)

«11 р. – Бате (Горшкову). (Пари.)

«5.30 – Боре Тихонову. (Пари.)

«5 р. – Игорю Гомозову. (Оставался без копеек.)

«Володе Подвигину – списаться – Барнаул – обещал прислать парик.

«Кабак – Королеву; Флеровой; бутылка – Цыпину; Блэк».

9

Человек с возрастом определяется, твердеет, исчезает внутренняя коммуникабельность, новых друзей нет, старые удерживаются памятью юности – а при встрече вдруг вместо симпатии и умницы натыкаешься на полную заурядность: «где были мои глаза?..»

Старая истина открылась мне не сейчас; я не сентиментален. Я платил по счетам. Червячок постепенно рассасывался, как бы превращаясь в невесомую взвесь, сообщавшую дополнительную прочность веществу души. Но проявилось маленькое черное пятнышко, как ядро в протоплазме, оно выделялось все отчетливее.

Долг долгу рознь, рублем не покроешь. Кто не тешил себя обещаниями когда-нибудь кое-кому припомнить мерой за меру.

Пятнышко разрослось в слипшийся ком. Я отодрал одно от другого, рассортировал, – и с некоторой даже неожиданностью убедился в исполнимости.

10

Он унизил меня сильно. Служебная субординация... я проглотил: на карте стояло слишком много.

Я нашел его. Он был уже на пенсии. День был теплый и талый, с каплей, во дворе за столиком укутанные пенсионеры стучали домино.

– Круглов? – спросил я.

Они подняли лица в старческом румянце.

– Вы мне? – спросил он.

Я назвал. Он не помнил. Я очень подробно напомнил ему тот год, то лето, месяц, пересказал ситуацию.

Он заулыбался.

– Как же, как же... Да, отчебучили вы (он чуть замедлился перед этим «вы», по памяти обратившись было на ты), – отчебучили вы тогда штуку. Выговорил я вам тогда, да, рассердился даже, помню!..

Я сказал ему в лицо все. Румянец его схлынул, обнажив склеротическую сетку на жеваной желтизне щек...

Пенсионеры испуганно притихли. Но я был готов к жалости, и она мне не мешала.

– Я много лет жил с этим, – сказал я. – Теперь мой черед... Квиты! Помни меня.

Я отдавал себе отчет в собственной жестокости. Но к нему вернулся его же камень.

11

Первый такого рода долг за мной ржавел со второго класса.

Мы просто столкнулись в дверях, не уступая дороги.

– Пошли выйдем? – напористо предложил я.

– Выйдем?.. Пожалуйста! – он принял готовно.

Дорожка у заднего крыльца школы, огражденная низеньким штакетником, обледенела. Болельщики случились все из моего класса (он был из параллельного, причем меньше меня). Ободряемый, я ждал с превосходством.

Скомандовали:

– Раз! Два!.. Три! – и он ударил первый, и очень удачно попал мне по носу, а я стоял задом прямо к низкому, под колени, штaketнику и поскользнувшись перевалился через него вверх ногами.

Засмеялись мои сторонники.

Ободренный противник, не успев я вылезти, бросился и изловчился отправить меня обратно.

Зрители помирали. Я растерялся.

И в этой растерянности он очень расторопно набил мне морду. Не больно, – не те веса у нас были, но довольно противно и обидно. Я был деморализован.

– Эх ты, – презрительно бросил назавтра знакомый из его класса, – Василию не смог дать...

Я так и не дал Василию. Черт его знает: меня били, я бил, и репутацией он не пользовался, бояться нечего было, – а остался его верх.

Это обошлось мне в пятьсот рублей и неделю времени. Я полетел в Крымскую, где тогда учился, поднял школьный архив, взял его данные и разыскал в Оловянной, в трех часах езды.

– Ну, здравствуй, Василь, – сказал я сурово, встав в дверях.

Он испугался, – хилый недомерок, полысевший, рябой такой.

– Одевайся, – велел я. – Разговор есть. Минут на пару.

Затравленно озирающегося, я свел его с крыльца в снег, к заборчику, треснул и подняв под бедра (легонького, не больше шестидесяти) свалил на ту сторону.

Он поднялся не отряхиваясь. И было не смешно. Но и жалко мне не было. Происходящее воспринималось как бы понарошке. Я знал, что все объясню, и мы вместе посмеемся.

– Не трусь, – ободрил я. – Лезь обратно.

И повторил номер.

Войдя в нечаянный азарт, я довесил ему, пассивно сопротивляющемуся, напоследок, и принялся очищать от снега. Он подавленно поворачивался, слушаясь.

– А теперь выпивать будем, – объявил я. – Зови в гости.

Он отдыхал один дома (работал машинистом тепловоза) – жена на работе, дети в школе.

– А помнишь, Василь, – со вкусом начал я, когда мы разделись и сели в кухне, за заставленный клеенкой стол напротив плиты, где грелась большая кастрюля, – по мнишь, как во втором классе одному дал?

Под нагромождением подробностей, с ошеломленным и ясным лицом, он вскочил и уставился:

– Дак што?.. Ты-ы?!

Я выставил водку. Мы выпили за встречу. Я, уже привычно, объяснился – зачем пожаловал. Он смотрел с огромным уважением и не верил:

– Для этого за столько приехал?

Разговор пошел – о чем еще?.. – о судьбах школьных знакомых...

– А ты где работаешь?

– Пишу.

– В газете?

– Да не совсем. Книги.

– Писатель? – осмысливающе переспросил Василь.

– Так.

– Писатель, – он даже на стуле подобрался. – А... что написал? Я читал?

– Э... Вряд ли. – Я назвал свои книги.

Он подтвердил с сожалением.

– Обязательно в библиотеке спрошу, – пообещал он, и было ясно, что да, действительно спросит, и даже возможно найдет и прочтет, и будет рассказывать всем знакомым, что этот

писатель – Рыжий, Тишка из второго Б, которому он когда-то набил морду, а теперь Тишка приехал и ему набил, вот дела, и поставил выпить.

Суется на месте, Василь уговаривал дождаться семью, обедать, погостить; приятно и ненужно...

Я оставил ему адрес. Он кручинился: семья, работа... я понимал прекрасно, что он ко мне не заглянет, да и говорить нам будет не о чем, а принимать на постой его семейство мне не с руки, – но, отмякший сейчас и легкий, приглашал я его в общем искренне.

12

Подобных должков еще пара числилась. И первый из кредиторов, надо сказать, обработал меня самым лучшим

образом. Крепкий оказался мужик. Потом мне за примочками в аптеку бегал и сокрушался. Последующее время мы провели не без удовольствия, он ахал, восхищался моей памятью, очень одобрял точку зрения на долги и все предлагал мне дать ему по морде, а он не будет защищаться; профессия моя ему почтения не внушала, это слегка задевало, но и увеличивало симпатию к нему.

Я честно сделал все возможное и ощущал долг отданным; он уверял меня в том же, посмеиваясь.

Мы расстались дружески, по-мужски, – без пустых обещаний встреч.

С другим обстояло сложнее. Круче.

Он увел у меня девушку. Такой больше не было. Он увел ее и бросил, но ко мне она не вернулась. Рослый и уверенный, баловень удачи, – чихать он на меня хотел.

Ночами я клялся заставить его ползать на коленях: типическое юное бессилие.

Расчет распадался, – разве только он теперь обдряб и опустился. Но вопрос стоял неоглазимо: сейчас или никогда.

Он пребывал в Куйбышеве. Он был главным инженером химкомбината. Он процветал. Я оценил его издали, и костяшки моих шансов с треском слетели со счетов.

Восемь гостиничных ночей я лежал в бессоннице, а днями обрывал автоматы, уясняя его распорядок. Из гостиницы я не звонил, опасаясь встречной справки. Утром и вечером я припоминал перед зеркалом все, что пятнадцать лет назад на тренировках вбивал в нас до костного хруста знакомый майор, инструктор рукопашного боя морской пехоты.

Я пошел на девятый день. Я знал, что он один. Я переждал на лестничной площадке, ставя на внезапность, скрепляя на фундаменте своей боязни недолговечную постройку наглости. Я не звонил – я постучал в дверь, угрожающе и властно.

Он отворил не спрашивая – в фирменных джинсах, заматеревший, громоздкий.

– Ну вот и все, Гена, – сказала ему судьба моим голосом, и я шагнул, бледнея, в нереальность расплаты.

И знаете – он тут струхнул. Он отступил с застрявшим вздохом, от неожиданности каждая часть его лица и тела обезволилась по отдельности, это был мой момент, и я обрел действительность в сознании, что не упущу этот момент и выиграю.

Я ударил его по уху и в челюсть, без всякой правильности, рефлекс мальчишеских драк – ошеломить, и знал уже, что он не ответит, и он не ответил, он закрылся, согнувшись, и инструкторский голос рявкнул из меня, окрыленного: «На колени!!», и я дал ему леща по затылку,

...и он опустился как миленький. И сказал: «Не надо...»

И во мне прокрутилась гамма: счастье, облегчение, разочарование, усталость, покой, растерянность. Я пихнул его носком ботинка в мощный зад, и все вдруг мне стало безразлично.

– Иди ум-мойся, – сказал я и стал закуривать, забыв, в каком кармане сигареты.

Он нерешительно поднялся и долгую секунду смотрел (он узнал меня) с робостью, переходящей в убедительнейшую любовь. Любовью всего существа он жаждал безопасности.

– Иди, – повторил я, кивнул, вздохнул и снял пальто. – Быстро.

Не стоило давать ему опомниться, но у меня у самого нервы обвисли.

Расположились среди современного интерьера: лак, чеканка, низкие горизонтальные мебели. Любезнейший хозяин метнул коньяк. Я припер жестом: заставил принять шестнадцать рублей – стоимость.

– За то, чтоб ты сдох.

Он улыбнулся с легкой укоризной, и мы чокнулись.

– Знаешь за что?

– Да.

За это «да» он мне понравился.

Я имел приготовленный разговор. «Почему ты на ней тогда не женился?» – «Ну... можно понять...» – «Я могу заставить тебя сделать это сейчас. Или – крышка, и концов не найдут». (Ужаснейшая ахинея. Я давно потерял ее из вида.) – «Пусть так, допустим даже... Но – зачем?..» – «Да или нет? Быстро! Все!» – Летучее лицемерие памяти: «Я думал иногда... Может, так было бы и лучше...» Вообще – дешевый фарс. Но взгляните его глазами: после прошедшей увертюры первые минуты ожидаешь чего угодно.

Мы проиграли нечто подобное взглядами. Превратившись в слова, оно обратилось бы фальшью.

– Я мог бы уничтожить тебя, – вбил я. – Веришь?

– Да. – Правдивое «да» звучало лестно.

Ах, реализовалась фантазия, спал долг, да печаль покачивала... Я помнил, какой он был когда-то, и она, и я сам, и как я мучался, и как страдала она – из-за него, и ее страдание я переживал иногда острее собственного, честное слово.

Я не испытывал к нему сейчас ненависти. Нет. Скорее симпатию.

– Прощай.

Он тоже поднялся, неуверенно наметив протягивание правой руки. Я пожал эту руку, готовно протянувшуюся навстречу.

Когда-то при мысли, чего эта рука касалась, я погибал.

А почему бы, в конце концов, мне было теперь и не пожать ее?

13

Зима сматывалась с каждым солнечным оборотом, все более размашистым и ярким; таяло, сияло, позванивало; почки памяти набухли и стрельнули свежими побегами воспоминаний о женщинах и любви.

И я полетел в Вильнюс, где жила сейчас моя первая женщина, жена своего мужа и мать двух их детей, которая в семнадцать лет любила меня так, что легенды тускнели, и которой я в ответ, конечно, крепко попортил жизнь.

Я позвонил ей; она удивилась умеренно; я пригласил, и она пришла ко мне в номер – казенное гостиничное убранство в суетном свете дня.

Статуэтки с кукольными глазами, «конского хвостика», ямочек от улыбки – не было больше; она сильно сдала; во мне даже не толкнулась тоска, – она вошла *чужая*.

– Здравствуй, Тихон, – сказала она (а голоса не меняются) с ясной усмешкой, как всегда, уверенно и спокойно. А на самом-то деле редко она когда бывала уверенной и спокойной.

И инициатива неуловимым образом опять очутилась у нее, несмотря на предполагаемое мое превосходство. Из неожиданного стеснения я даже не поцеловал ее, как собирался.

Шампанское хлопнуло, стаканы стукнули с тупым деревянным звуком.

– Говори, Тихон.
– Я давно... давно-давно хотел тебе сказать... Я очень любил тебя, знаешь?..
– Неправда, Тихон. – Она всегда называла меня полным именем. – Ты не любил меня. Просто – я любила тебя, а ты был еще мальчик.
– Нет. Знаешь, когда меня спрашивали: «Ты ее любишь?» – я пожимал плечами: «Не знаю...» Я добросовестно копался в себе... Что имеешь не ценишь, а сравнить мне было не с чем... обычное дело. Я же до тебя ни одной девчонки даже за руку не держал.
– Ты мне говорил это...
Я собрался с духом. Я вел роль. Ситуация воспринималась как книжная. Ни хрена я не чувствовал, как она вошла – так у меня все чувства пропали. Но я понимал, что делаю то, что нужно.
– Двадцать лет. Я только два раза любил. Первый – тебя. К черту логику некрологов. Хочу, чтоб знала. Я ни с кем никогда больше не был так счастлив.
– Просто – нам было по семнадцать.
– По семь или по сто! Мне невероятно повезло, что у меня все было так с тобой. Ты самая лучшая, знай. И прости мне все, если можешь.
– Детство... Нечего прощать, о чем ты... Ты с этим приехал? Зачем? Ты вдруг пожалел о том, чего у нас не было? Или ты несчастлив и захотел причинить мне тоже боль?
– Зачем ты... Я только по-хорошему...
– Что ж. Спасибо. – Она закурила. – Сто лет не курила. Да. Моя Катька уже влюбляется. – Она ушла в себя, тихонько засмеялась...
– Я хотел, чтоб ты знала.
– Я всегда это знала. Это ты не знал.
– А ты – ты ничего мне не скажешь?
– Спрошу. Ты счастлив?
– Да. Я жил как хотел, и получил чего добивался.
– Не верится. Ну... я рада, если так; правда.
Я попытался поцеловать ее. Она отвела:
– Не стоит. – И вся ее гордость была при ней. – Ты всегда любил красивые жесты.
– Пускай. Но так надо было, – ответил я убежденно, мгновение жалея ее до слез и изрядно любуясь собой.

14

Душа моя очищалась от наростов, как днище корабля при кренговании. Зеленые водоросли, прижившиеся полипы не тормозили уже свободного хода, я чувствовал себя новым, ржавчина была отодрана, ссадины закрашены, – целен, прочен, хорош.

Или – я был хозяйкой, наводящей порядок в заброшенном и захламленном доме. Или – лесником, производящим санитарную порубку и чистку запущенного леса: солнце сияет в чистых просеках, сучья собраны в кучи и сожжены, и долгожданный порядок услаждает зрение.

Мне нравилось играть в сравнения. (А вообще пригодятся – употреблю в какой-нибудь повести.)

15

К концу стало приедаться. Но наступил март, а мартовское настроение наступило еще раньше. Весьма необременительно зачеркивать пустующие по собственной вине клеточки в своей судьбе, когда нужно является приятным.

Я позвонил Зине Крупениной. Знакомство семнадцатилетней давности, подобие взаимной симпатии: я ей нравился не настолько, чтоб кидаться в мои объятия сразу, она мне – недостаточно для предпринятия предварительных действий. Лет пару назад, при уличной встрече, она улыбалась и дала телефон.

Все произошло до одури трафаретно, скука берет описывать: ну, вечер, двое, интимный антураж, предписанная каноном последовательность сближения... Лицемерием было бы назвать ночь восхитительной, – но не был, это, конечно, и чисто рассудочный акт.

Проснулись до рассвета, с мутной головой – перепили. Я долго глотал воду на кухне, принес ей, сварил кофе, влез обратно в постель, мы закурили. Окно светлело.

Я ткнул из кучи кассету в магнитофон. Оказался Кукин. Песенки, которые мы все пели в начале шестидесятых, несостоявшаяся грусть горожан.

Я люблю случающийся рассветный час после такой ночи: опустошенная чистота, и горечь и надежда утверждения истины.

– Час истины, – произнес я вслух.

Кажется, она поняла.

– Кукин... – сказала она. – Ах... Где он сейчас?..

– Работает в «Ленконцерте», – сказал я.

16

По тому же сценарию прошли еще три свидания. Связи, по инертности моей застрявшие на плтоническом уровне, были приведены к уровню надлежащему.

У четвертой выявился полный порядок с семьей и отсутствие желания, но я уже впрягся как карабахский ишак и, преодолевая встречный ветер, три недели волок свой груз через филармонию, ресторан с варьете, выставку и вечер у знакомых актеров, пока не свалил в своем стойле с обещаниями, услышав которые, волшебный дух Аладина сам запечатался бы в бутылку и утопился в море. И я поставил галочку против этого пункта тоже.

На субботу я снял банкетный зал в «Метрополе». Я разослал пятьдесят четыре приглашения. Я ходил ужинать к этим людям в дни, когда сидел без гроша. Они проталкивали мои опусы, когда я был никем, а они тоже не были тузами. Я был обязан им так или иначе. И я не был уверен, что случай отблагодарить представится. Кроме того, я давно так хотел.

На этом сборище я поначалу чувствовал себя нуворишем. Не все клеилось, многие не были знакомы между собой. Но по мере опустошения столов – вполне познакомились. Ну, кто-то льстил в глаза, ну, кто-то говорил гадости за глаза, – ай, привыкать ли к банкетам. Я их всех в общем любил. И все в общем прошло хорошо.

17

Наутро я проснулся – будто первого января в детстве. Четверть окончена, табель выдан, каникулы впереди, подарки на стуле у изголовья, и праздничное солнце – в замерзшем окне. Играет музыка, а веселые мама с папой разрешают поваляться в кровати. Жизнь чудесна!

Я побродил в халате по квартире, «Бони М» пели, сигарета была мягкой и крепкой, коньяк ароматным и крепким, апрельский свежий день светился, прошедшие дни в наполненной памяти лежали один к одному, как отборные боровички в корзине.

План мой, перечень на четырех листах, я перечитал в тысячный и последний раз, и против каждого пункта стояла галочка.

Я со вкусом принял душ, со вкусом позавтракал, со вкусом оделся и пошел со вкусом гулять, – путешественник, вернувшийся из незабываемой экспедиции.

Дошел до своего метро «Московская», и еще одно осенило: не раз под закрытие приходилось мне просить контролера пустить в метро без пятака – то рубль не разменять, то просто не было и врал про забытый кошелек, – и всегда пускали.

Я сосчитал по пальцам число станций нашего метро и купил в булочной тридцать одну шоколадку.

– Девушка, – сказал я девушке лет сорока, хмуриющейся в своем загончике у эскалатора, – я задолжал вашей сменщице пятачок, – и протянул шоколадку.

Она улыбнулась, взяла и сказала:

– Спасибо!..

Я тоже ей улыбнулся и поехал вниз.

Ту же процедуру я произвел на остальных станциях, и к исходу четвертого часа, слегка одуревший от эскалаторов и поездов, подъезжая к последней остающейся станции – к «Академической», – обнаружил, что шоколадки кончились. Я каким-то образом ошибся в счете. Станций было не тридцать одна, а тридцать две.

Я устал. Выходить и снова покупать не хотелось. Пятак отдать? Ну, несолидно. И безделушек никаких – я похлопал по карманам. Единственное – шариковая ручка: простенькая, но фирменная, «Хавера». Привык, жаль немного. А, что жалеть, для себя же делаю.

И я подарил ручку с подобающими объяснениями светленькой симпатяжке с «Академической».

– И вам не жалко? – покрутила она носиком. – Спасибо. Хм, смешной человек!..

Я поехал домой.

18

Выйдя наверх, в отменно весеннюю погоду (уж и забыл о ней), я позвонил Тольке Хилину. Трубку никто не снял, – на дачу небось выбрался, работает. Позвонил Наташе – тоже никого. Усенко – не отвечает. Чекмыреву – никого нет.

Ну как назло. Хотелось поболтаться с кем-нибудь по городу, посидеть где-нибудь. День еще такой славный, настроение соответствующее.

Ладно у меня всегда запас двухкопеечных монет, на сдачу привык просить. Звоню Инке Соколовой.

– Вы ошиблись. Здесь таких нет, – отвечает мужской голос.

Странно. Я полез за записной книжкой. Книжки не было. Забыл дома, видно, хотя со мной это редко случается.

Я истратил все семь оставшихся монет. Телефонов пятнадцать не ответили. Семь раз сказали:

– Вы ошиблись. Таких здесь нет.

Во мне разрасталось странноватое ощущение. Не настолько дырявая память у меня. С этим странноватым ощущением я пошел домой.

В винном кладу мелочь:

– Пачку «Космоса».

А продавщица – рожа замкнута, смотрит сквозь меня – ни гу-гу.

– Мадам! Вы живы?

Тут мимо меня один протиснулся:

– За два сорок две.

Она отпустила ему бутылку. А на меня – ноль внимания. И хрен с ней. Не стоит настроение портить. Я вышел из того возраста, когда реагируют на хамство продавцов. В конце концов дом рядом, зачка имеется.

Дошел я до своего дома...

Дважды в жизни я такое испытывал. Первый раз – когда школу закрыли на карантин – грипп – а я после болезни не знал и приперся: по дороге ни единого ученика, окна темные и дверь заперта. Чуть не рехнулся. Второй – в студенческом общежитии пили, я спустился к знакомым на этаж ниже, а вернуться – нет лестницы наверх. Полчаса в сумасшествии искал. Нет! Ладно догадался спуститься – оказывается, я на верхний этаж, не заметив, пьяный, поднялся.

Моего дома не было.

Все остальные были, а моего не было.

Ровное место, и кустики голые торчат. Травка первая редкая.

Я походил, деревянный, с внимательностью идиота посмотрел номера соседних домов: прежние, что и были.

Старушечка ковыляет, пенсионерка из тридцатого дома, визуально знал я ее.

– Простите, – глупо говорю, – вы не подскажете ли...

Она идет и головы не повернула.

Я окончательно потерялся. Потоптался еще и пошел обратно к Московскому проспекту. Может, сначала попробовать маршрут начать?

Очередь на такси стоит. Покатаюсь, думаю, поговорю с шофером, оклемаюсь, а то что-то не того...

– Граждане, кто последний?

Ноль внимания.

Кошмарный сон. На улице без штанов. Руку до крови укусил. Фиг.

Пьяный идет кренделями, лапы в татуировке.

– Ты, алкаш, – говорю чужим голосом, – в морду хошь? – и пихнул его.

Он и не шелохнулся, будто не трогал его никто, и дальше последовал.

Чувствую – сознание потеряю, дыхание будто исчезает.

Иду куда глаза глядят по Московскому проспекту.

Мимо универмага иду. Зеркальные витрины во всю стену, улица отражается, прохожие, небо.

Иду... и боюсь повернуть голову.

Не выдержал. Повернул.

Остановился. Гляжу.

Все отражалось в витрине.

Только меня не было.

Я изо всей силы, покачнувшись слабо, ударил в зеркальное стекло каблуком. И еще.

И оно не разбилось.

Кошелек

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения – он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, – но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер «Вокруг света», стыдливо размышлял, что невредно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, – известность, правда, некоторая смущала, – но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлось бы просто кстати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествующий октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: «Если Лосева откроет рот – раздастся голос Зелинской») даже заболеть наладились на пару, так что когда задымил вопрос о невелинской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.